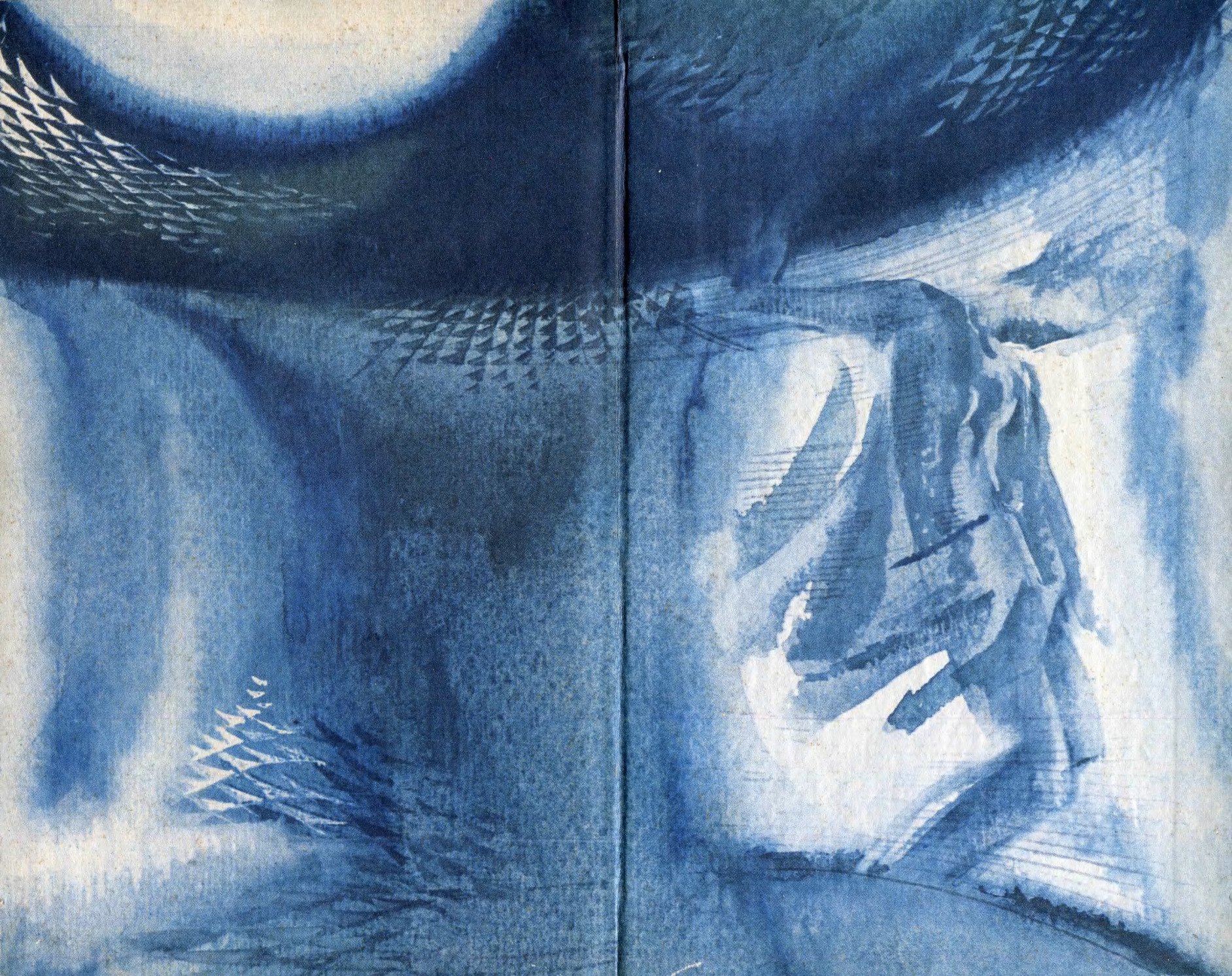
The background of the cover is a surrealist painting. It features a large, stylized figure with a blue and white upper body and a red and orange lower body. The figure's arms are raised, and there are dark, swirling shapes around the torso. The overall style is reminiscent of mid-20th-century abstract art.

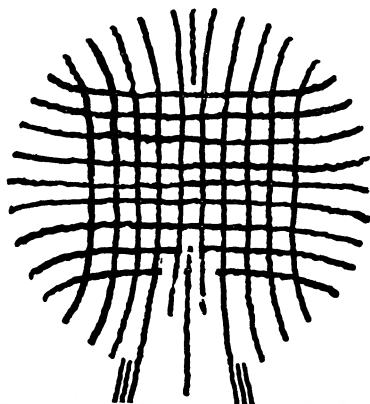
АНАТОЛЬ ИМЕРМАНИС

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ФАНТАСТИКА
ПУТЕШЕСТВИЯ

ПИРАМИДА МОРТОНА

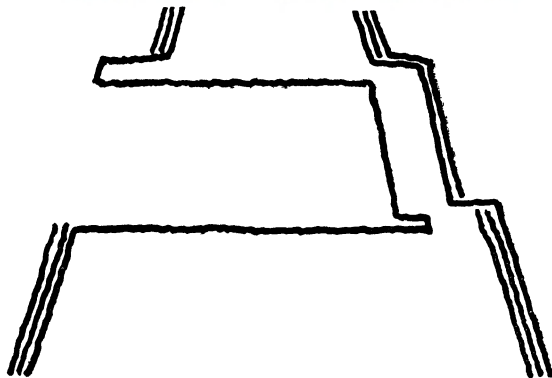






АНАТОЛЬ ИМЕРМАНИС

ПИРАМИДА МОРТОНА



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЛИЕСМА»
РИГА 1978

L 2
И 347

Anatols Imermanis
MORTONA PIRAMIDA
Izdevniecība «Liesma»
Rīga, 1971

Перевел с латышского автор

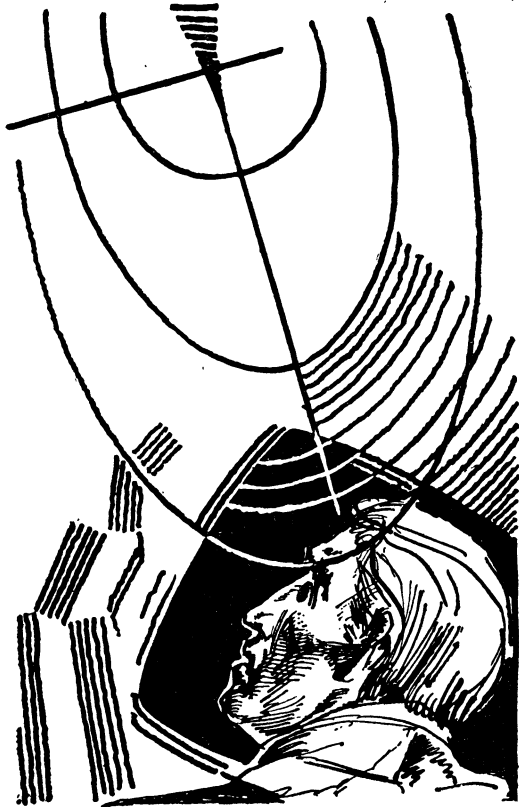
Художник *А. Ламстерс*

И $\frac{70302-123}{M801(11)-78}$ —226—78

© «Лиезма», 1978

КНИГА ПЕРВАЯ

ТЕЛЕМОРТОН





1.

Люди исчезли. Остался голос, один только голос.

— Я — бог. Вначале была пустота, и мне было скучно. Тогда я создал вселенную. Галактики вспыхивали и угасали, образуя каждый день новое неповторимое сочетание. Но однажды старое сочетание повторилось. И мне снова стало скучно. Тогда я создал жизнь. Протоплазма превратилась в человека, и человек расщепил атом, и ни один день не повторил предыдущего...

Слова — из Первой книги Нового Священного писания. Но голос? Этот страшный металлический голос, от которого я почти теряю сознание. Это стоящее на амвоне квадратное человекоподобие, считывающее текст с экрана, на котором проецируется священная микропленка?

— Кто это такой? — спрашиваю шепотом своего соседа. Он поворачивает ко мне бородатое, удивительно знакомое лицо. Как похож на Айрона Керна — поэта, не напечатавшего ни одной строчки, хотя сотни тысяч знали его стихи наизусть. Но Айрон ведь умер в прошлом веке, значит, не он.

— Это? Младший священник. Разве вы не знаете, что Токийский Всемирный Собор Истинной Веры разрешил использовать для богослужения роботов?

В моей памяти огромный провал, словно я десятки лет находился в небытии.

— Плодитесь, пожирайте друг друга и не спраши-

вайте, как долго это может длиться, ибо я, Великий Экспериментатор, сам не ведаю этого, — шевелит робот свинцовыми губами.

— Аминь! — повторяют верующие.

Какая акустика! Высоко, высоко надо мной, сквозь прозрачную крышу виднеется черный силуэт вращающегося барабана.

— Что это такое? — снова спрашиваю соседа.

— «То, через что бог явится людям». Книга четвертая, стих сто первый, — он подозрительно глядит на меня. — Вы случайно не из Зоны Психоизоляции?

— Из лунников, — лгу я. — Только что вернулся оттуда после двадцати лет.

— Бывший лунник? — сосед отшатнулся. — Вам уже дали отпущение грехов?

— В чем?

— Неужели вы даже этого не знаете? — ужаснулся он. — Даласский Вселенский Собор еще в девятнадцатом году объявил лунизм ересью. Именно тогда профессор Хилари, причисленный за это к лику святых, доказал, что идущие к нам из невероятных космических далей радиосигналы исходят от бога. Наш радиотелескоп, — он благоговейно показал наверх, — самый большой в мире. Если Великий Экспериментатор соизволит явиться людям, это произойдет именно здесь.

Что-то происходит со мной. Провал в памяти исчезает.

Я в храме Радиотелескопического Откровения, сейчас XXI век, зовут меня Тридент Мортон. Храм огромен, затерянные в его колоссальном пространстве люди кажутся куклами для муравьиных малышей. Вместо потолка — звездное небо на высоте тридцатого этажа. Оно просвечивает сквозь синтетическое стекло — звуконепроницаемое, пуленепробиваемое, защищающее от радиации. Такие окна могут себе позволить только очень богатые люди.

— Святой Хиппи, ты, чьими устами Великий Экспериментатор открылся людям, ты, возвестивший истстрадавшемуся человечеству великую тайну божественного эксперимента, да явится имя твое! — провозглашает Старший священник — не робот, а живой человек, хотя поверить в это с непривычки трудно. На высоте десятого этажа он парит над нами — заключенный в прозрачную коробку, просвеченный рентгеном скелет с узкой грудной

клеткой и большим черепом. В прошлом веке священнослужителем мог быть любой шарлатан. Кроме богоугодных слов, с него ничего не спрашивали. Новая религия родилась в жестокое время, это религия скептиков, которые требуют доказательств. А разве существует лучшее доказательство истинной веры, чем вдвое укорачивающее жизнь постоянное облучение при богослужении?

В монастыре Ордена Рентгенианцев я видел монахов, которые уже по несколько лет не вылезают из рентгеновой камеры. Монастырь стал местом всемирного паломничества. Там нет электричества, его заменяют вделанные в витрины светящиеся мощи умерших за полстолетия святых отцов.

— Амины! — провозглашает священник, простирая над нами кости. И сразу же слева и справа возникает человеческая фигура, флуоресцентный, стереоскопический портрет величиной в десятиэтажный дом. Каждая морщинка под глубоко запавшими глазами выглядит, как ущелье, каждая складка кожи на обритой наголо огромной голове — как тектонический сдвиг земной коры. Нечеловеческое лицо.

Святой Хиппи, пророк и основатель новой религии. Собственно говоря, его звали Джон Крауфорд, но мы зовем его Хиппи, так же, как христиане Иисуса Назарянина — Христом и Спасителем. Хиппи умер в прошлом веке в Стамбуле. Неверующие медики того времени объявили причиной смерти наркотическое отравление, а его божественные откровения — галлюцинациями.

Появление Святого Хиппи уже достаточно наэлектризовало толпу. Скелет в прозрачной коробке снова простирает кости-руки.

— Великий Экспериментатор, явись нам воочию, чтобы предотвратить нашу гибель, — иступленно кричит он.

— Воочию! Воочию! — кричат тысячи людей и впадают глазами в стену. Стена исчезает. На ее месте смутно мерцающий гигантский экран. Снизу верхний край почти не виден. Вспоминаю, какое сегодня число. Ну, конечно, 25 января. В апокрифической Пятой книге «Хиппия Детермина» предсказано, что именно в этот день бог явится людям.

— Воочию! Воочию! — крик переходит в истерию, в рыдания, в нечленораздельные вопли.

Вдруг все затихает. Какой-то звук. Скорее тихий шелест. Ноги сгибаются сами собой, колени стукаются о синтетический пол.

— Радиотелескоп! Глядите! — шепчет бородатый сосед.

Свинцовая тяжесть пригибает голову, но собираю всю свою волю и рывком поднимаю подбородок. Мерцание экрана как бы пронизывает крышу, а на ней барабан радиотелескопа, он вертится все быстрее и быстрее. Звук исходит от экрана. Вдавливающая в пол сила ослабевает. Тысячи людей, не вставая с колен, впиваются в экран.

— Чудо! — одинокий старческий голос на долю секунды опережает события.

По экрану бегут огненные кольца, стрелы, линии, образуя суживающийся клин, концы которого смыкаются в невообразимой дали. Пронзительные краски, фиолетовые, багровые, зеленые — словно при извержении вулкана.

Я как будто раздваиваюсь. Бог! — кричит во мне трепетный ужас. А память, как бы существуя сама по себе, нашептывает: что-то подобное я уже видел. Она подсказывает мне даже название. «Космическая Одиссея» — картина Стенли Кубрика. Но этого не может быть. Фильм был создан в прошлом веке, последняя копия сгорела во время бомбежки Нью-Йорка ракетоносителями Негритянской Армии Освобождения.

Что-то произошло. Парившая над головами прозрачная коробка со священником падает. Скелет Старшего священника вмиг обрастает пиджаком, брюками, туфлями. По-прежнему просвечиваемый рентгеном череп в страшном крике ощерил зубы. Все это с грохотом рушится на верующих. Кровавая мешанина. Крики искалеченных людей тонут в огромном голосе толпы:

— Чудо! Чудо! Бог! Великий Экспериментатор!

Символы все еще бегут по экрану, бегут с неземной скоростью, я начинаю их понимать. Это со мной говорит бог: нет ничего страшнее косвенного греха. Мои грехи! Сколько их. Самоубийства, растоптанные жизни, разрушенное счастье, нищета, отчаяние сотен тысяч — и все это ради сказочного богатства династии Мортонгов. Люди глядят уже не на экран, а на меня. Я наг и беззащитен, как на Страшном Суде. Стрелы и кольца вылетают с

экрана, пронизывают огромность помещения, обвивают меня огненными петлями. Холодное пламя. Оно не жжет, только указывает:

— Вот он, Великий Грешник!

Меня хватают беспощадные руки, я стараюсь вырваться, мой бородатый сосед пытается помочь, его отталкивают. Я бессилен, меня куда-то волокут — дряблый, набитый костями мешок. Холодно, страшно холодно. Ледяная вода. Иголки вонзаются в кожу.

— Будь ты проклят, Великий Экспериментатор! — кричу я, теряя сознание.

2.

— Вам лучше, эфенди? — спрашивает голос с восточным акцентом.

Открываю глаза. Лежу голый на деревянных нарах, два ухмыляющихся турка дружно обрабатывают меня душем Шарко.

— Сволочи! — я выплевываю ледяную воду.

— Вы сами так приказали, эфенди, точно в полседьмого!

Ко мне возвращается память.

— Виски! — приказываю я.

Услужливо поданный стакан. В любом уголке земного шара меня обслуживают с одинаковой быстротой. Может быть, поэтому так отвратительно быть Тридентом Муртоном. Может быть, поэтому Айрону удалось с такой легкостью приобщить меня к этому миру отверженных.

— Гадость! — вместе с последним глотком виски я выплевываю вкус страшных религиозных галлюцинаций. Мерзкая штука — этот безобидный ЛСД. Никогда больше в жизни! Так я тебе и поверил, Трид! От большой мерзости, что называется жизнью, есть только одно спасение — меньшая мерзость, зато в разнообразном ассортименте.

— Виски? Плохой виски? У нас всегда самый отборный. — От притворного возмущения держащая шланг рука дрожит. Шланг меняет направление. Иголки вонзаются мне в глаза.

Хозяин шербетной. Грузный тип с обвислым животом и цепкими глазами, привыкшими выискивать пороки и расценивать их по рыночной стоимости. В былое время

он был бы главным поставщиком султанского гарема. Сейчас он сам султан, владелец грязной задней комнаты, о которой чинные посетители шербетной предпочитают помалкивать. Здесь собираются изгои со всего света, отрыгнувшие цивилизацию пустыри. Филиал Хиппи-стана, где, лежа вповалку на обветшавших циновках, мечтают, философствуют, проклинают двадцатый век, а потом переходят в другое измерение. ЛСД — дешево опиума, гашиша, даже марихуаны. Самые дешевые ворота в рай.

— Отборный виски! — тупо повторяет хозяин.

— Идиот! — говорю я, уже без злобы. Собственно говоря, он ни в чем не виноват. Каждый крутится в своем колесе, как умеет. А большое колесо жизни тоже крутится, и ничего оно не умеет, так что даже непонятно, к чему это непрерывное движение. Может быть, прав Джон Крауфорд — такая сплошная бессмыслица имеет смысл только в том случае, если это чей-то эксперимент. Он как раз говорил об этом, когда у меня начались галлюцинации.

Человек двадцать, мы лежали, растянувшись на полу, и пили. Двухлитровая бутылка переходила из рук в руки, стакан был только один, к тому же Бруна постоянно стряхивала в него пепел. Большая медная пепельница стояла посреди комнаты, но ей было лень дотянуться. Нам тоже. Цинковка, на которой мы лежали, была вся прожжена сигаретами.

Айрон Керн не пил. Он упивался своей поэмой. Слова хлопотали в горле, рыжая, давно не чесаная борода поднималась и опускалась. Фантазмагория хаотических видений, связанных между собой только тоненькой ниточкой таланта. А талант был необыкновенный. Там попадались такие места, что даже мне, уже давно отвергшему литературу, ибо она врет, когда скрывает правду, и врет, когда тщится ее сказать, стало не по себе.

Айрон дезертировал из американской армии перед отправкой во Вьетнам. Я сказал ему, что убить такой талант действительно преступление и что я согласен издать его стихи на свои деньги. У Айрона не напечатано ни строчки, хотя со своим безумием он в этом безумном мире мог бы быть прославленным и даже неплохо оплачиваемым автором.

Айрон послал меня к черту, принципиально, как он

подчеркнул. Печататься он не собирается, потому что это так же бессмысленно, как все остальное. Что писать стихи, что производить башмаки или бомбы, что пить, что воевать — все одно. Дело вовсе не в его драгоценном таланте или драгоценной жизни, а в том, что он предпочитает эту шербетную на улице Османлие джунглям, москитам и грубым окрикам озверевшего кадрового сержанта. Печататься? Для чего? Для кого? Изредка Айрон разрешает записывать свои поэтические галлюцинации на магнитную ленту. Пусть наслаждаются, если люди так глупы!

Мой отец тоже презирал людей. До последней минуты он был неизменно вежлив со всеми, с равными себе, с подчиненными, и только я, его сын, знал, какое убийственное презрение скрывается под ровной улыбкой. Он презирал их за то, что из них так легко вытягивать деньги, за то, что чем больше из них вытягиваешь, тем больше они тебя уважают. Мне кажется, в последние годы само накопление денег уже не доставляло ему никакого удовольствия. И только это холодное презрение, эта так легко добываемая возможность с любезной улыбкой шагать по сокрушенным состояниям примиряла отца с жизнью, где не оставалось места ни малейшему желанию.

Айрон Керн презирал людей по иной причине. За то, что они были людьми. У меня было такое ощущение, что больше всего он презирает лучших — добрых, умных, мягких, тех, чьи способности и идеи по осчастливлению человечества используются для его закабаления. Он презирал их всем своим видом, своей немытостью и нечесаностью, плевыми откровенного абсурда, которыми были густо исхарканы блистательные дороги его поэтических открытий.

— Хотите, ребята, одну аллегория, — хриплым голосом предложила Бруна.

— Библейскую? Не надо! Считаю, что меня уже стошнило. Может, вам это неизвестно, но прежде чем стать хиппи, я был попом. Преподобный Джон Крауфорд! Во имя отца, сына, святого духа и ЛСД, никаких библий! Тем более, что я одной ногой уже нахожусь по ту сторону добра и зла. Если бы вы знали, какие они красивые! — Джон осторожно поднял свои жилистые руки и длинными пальцами бережно притронулся к бритой

голове. В этом маленьком мире, отгородившемся от большого лозунгом «Долой парикмахеров», голый череп Джона казался анахронизмом. Он был похож на буддийского монаха — впалые глаза, желтая кожа, тонкое аскетическое лицо.

— Красивые? Кто? — спросила без особого любопытства пожилая женщина. Я не знал ее имени и не старался узнать. Очевидно ее, как и меня, допустили в этот мир за одно, пусть презируемое, но все же ценное качество. За ее деньги. Философия — философией, но надо ведь на что-то покупать ежедневную порцию иллюзорного рая.

— Цветы, — вяло откликнулся Джон. — Они растут у меня прямо из головы. Как волосы медузы.

— Дайте сказать Бруне, — из тумана раздался голос Айрона Керна. — Говори, герцогиня!

Он, пожалуй, не знал, что скрывается за этой дурацкой кличкой. Тайный миллиардер князь Турн-и-Таксис был одним из немногих людей, которых мой отец по-настоящему уважал. Лет десять назад я видел в Париже кадр светской кинохроники: Брунгильда Турн-и-Таксис со своей тетушкой — династической престолонаследницей португальской короны Эленой Браганца. Теперь это была Бруна — нечто бесформенное с глазами Святой Терезы и манерами проститутки. Когда она говорила, кожу продирали мороз. Вот и сейчас казалось, будто она механически считает с папируса фразы непонятного, давным-давно мертвого языка:

— Я бы начала новое летосчисление с капли, случайно попавшей на губы Гофмана. Швейцарский химик экспериментировал с алкалоидом спорыньи и совершенно не подозревал, что случайно откроет нам дверь в другое измерение. Пять тысяч таких ирреальных миров умещаются в глазной пипетке. Достаточно развести одну каплю в плавательном бассейне, отпить из него глоток — и мы уже заколдованы. Окружающие предметы то увеличиваются до размеров Гулливера, то превращаются в гномиков, мы сами раздуваемся до чудовищных размеров, то летаем, то становимся центром огромного пожара. И главное — полное освобождение от пространства, времени и действительности. Из Джона растут цветы, а из меня — аллегории.

— Если считать, что лекция об открытии ЛСД-25 —

аллегория, то обязуюсь впрыснуть себе ту дозу, которой Гофман впоследствии убил слона! Боже, какая скука! Если бы вы только знали, какими микроскопическими я вас вижу в эту минуту, — зевнул кто-то.

— А случайная капля на губе — разве не аллегория? Представьте себе, Всевышний, экспериментируя, плюнул, плевком случайно упал на Землю, а из плевка, уже не случайно, возник его величество человек. — Бруна страхнула пепел на циновку и вытянулась поудобнее.

— Достаточно цинично, но недостаточно научно, — чуть оживился Джон. Его цветы еще не выросли до таких размеров, чтобы мешать мыслить. — Процессы в микромире и макромире идентичны. Коль мы разводим вирусы, то где-то в глубинах необъятной вселенной вероятно существует некто, для которого человечество является подопытной бактерией, а наш шарик — питательной средой.

Он начал развивать безумную, но не лишенную логики теорию, обратившуюся в моих религиозных галлюцинациях в Храм Радиотелескопического Откровения.

...Душ Шарко подраивал меня насквозь, из меня по иголочке выскакивает последний бред, я отфыркиваюсь и мокрыми непослушными пальцами бью хозяина шерbetной по лицу:

— Хватит, сволочи! Вы на мне живого места не оставите!

— Как угодно, эфенди, — хозяин, ухмыляясь, прикручивает краник шланга.

— Еще виски?

— Кока-колу со льдом! — приказываю я. Голова чуть проясняется, тело еще дряблое, но я знаю, что сумею заставить себя двигаться. — И одеваться!

До одевания был массаж. Они не щадили меня. Временами я кричал, но поставленные ребром ладони продолжали беспощадно молотить беззащитную плоть. И она против моей воли оживала.

Хозяин с подчеркнутой почтительностью, тихонько подталкивая мое безвольное тело, повел меня к выходу. Такое же почтение он испытывал бы к нагадившей в мечети свинье, будь у этой свиньи местный агент, которому можно потом предъявить счет на грабительскую сумму.

В задней комнате почти все находились уже в том состоянии, когда мы с хозяином, лавировавшие между распростертыми телами, превращались в составную часть уже идущей полным ходом фантазмагии. Джон Крауфорд процедил что-то сквозь зубы — мол, хоть ты и Великий Экспериментатор, но наступать на ноги не обязательно. Айрон Керн, посмотрев на меня невидящими глазами, продолжал шептать стихи. Он-то вообще никогда не принимал настоящей дозы — лишь столько, чтобы оторваться от реальности и почувствовать вдохновение. Стихи были навязчивы своим прекрасным уродством и поэтому сразу запомнились.

телефоны обнимаются в траве
город в ухо им смешки проклятья
сплетни ссоры справки о цене
ток любви мембранные объятья
в ухо крик я в атомном огне
город умирает миг зачатья

На улице пахло гнилью, как во всем старом Стамбуле. Мраморный минарет мечети Нури Османлие выглядел из-за грязных строений. Полицейский бдительно прохаживался взад-вперед, готовый своевременно предупредить хозяина шербетной о налете Особой бригады по борьбе с наркоманами.

Машина уже ждала меня. В свое время отец посылал за мной следом, куда бы я ни поехал, два автомобиля — маленький спортивный и большой вместительный роллс-ройс. Даже после его смерти мне не удалось полностью освободиться от лимузинных цепей. В любом месте, где я сходил с самолета, парохода или поезда, меня ожидала машина, заранее взятая напрокат нашим местным агентом.

Шофер выскочил, как заводная игрушка, распахнул дверцу, усадил меня, подложил под голову поролоновую подушечку, предупредительно открыл выдвижной ящик с сигаретами и сигарами, показал, какую кнопку нажимать, чтобы добраться до холодильника с напитками, — и мы поехали.

Подушечку я швырнул на пол, курить мне не хотелось, пить еще меньше. Полулежа, я тупо глядел в загорелый затылок, заросший курчавыми черными волосами. В

Стамбуле я провел три дня, причем почти безвыходно в задней комнате шербетной. Машиной пользовался до этого дважды. Это был третий раз. Завтра или послезавтра он отвезет меня на аэродром или вокзал, и никогда больше в жизни я не увижу этого человека. А он до конца своей жизни будет вспоминать, что вез Тридента Мортонна.

В отеле «Ориент», где оставались мои вещи, но где я ни разу не ночевал, меня ожидала телеграмма.

ЧЕТВЕРГ 20-30 СЛИЯНИЕ МОРТОНА С УНИВЕРСАЛЬНЫМ ПАНТЕОНОМ В УОЛДОРФ-АСТОРИИ. ВАШЕ ПРИСУТСТВИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО. ЗА ВАМИ ПОСЛАН ВАШ ЛИЧНЫЙ САМОЛЕТ. ВЫЛЕТ ИЗ СТАМБУЛА ЧЕТВЕРГ 9-00.

Подпись под телеграммой гласила: «Ноа Эрквуд».

Ноа Эрквуд был розовощеким стариком с прекрасной седой композиторской шевелюрой. Если я про себя окрестил его «Мефистофелем», то отнюдь не за внешность. Да и по сути ровно ничего мефистофельского в нем не было, кроме магической быстроты, с которой он сделал моего отца обладателем современной алхимической палочки. Он как бы мимоходом сунул ее в руку отца, и с тех пор все, к чему прикасалась палочка, мгновенно превращалось в железные дороги, нефтяные промыслы, земельные угодья, банки, игорные дома и множество фирм, производящих всякую всячину, начиная от карнавальных масок до вступительных речей президентов. Пока я был мальчиком, этот гений носил скромный титул главного советника отца. Но когда я порос, на скрещении дорог, ведущих к добру и злу, к самоотречению и накоплению, к расслабленной апатии или жестокой схватке, передо мной предстал он — мудрый и в меру лукавый Мефистофель, чтобы повести меня к высотам, недоступным простым смертным. Как он бился надо мной, как трудился, вливая по капельке яд своего мировоззрения! Я пошел было за ним, а потом наступила отвращающая тошнота, и вот уже в течение десяти лет я бессильной щепкой метался по волнам мирового потопа, где из водяной хляби то и дело торчали Араматы бесчисленных мортоновских предприятий. Туристическое бюро, отправляющее меня в путешествие, принадлежало мне (через подставную фирму). Самолет, переправлявший меня через океан, принадлежал мне (через подстав-

ную фирму). Отель, в котором я жил в чужой стране, частенько принадлежал тоже мне (через филиал подставной фирмы). Продукты, которые я ел, принадлежали мне (через дочернее предприятие фирмы). И вполне возможно, отвратительное виски, которым меня поил хозяин шербетной, тоже принадлежало мне. И вместе с тем мне не принадлежало ровным счетом ничего. Империя Мортон^{ов} юридически не имела ничего общего ни с производством товаров, ни с производством денег. Это была хитроумно сплетенная паутина «Хоулдинг компани» — фирм, занимавшихся исключительно надзором за процветанием других фирм.

Я думаю, отцу, с его нечеловеческим презрением к деньгам, было бы скорее приятно узреть с того света, как я швыряю ворох тысячных банкнот на столпившихся под моим окном прохожих. Но Мефистофель и тут добился своего. Зная, что отец вот-вот умрет, он ловко подsunул мне какую-то блондинку, с которой отправил в увеселительную поездку, а сам вырвал у отца вместе с предсмертным вздохом поправку к завещанию. Согласно ей, я до сорокалетнего возраста мог распоряжаться лишь доходами с капитала, и то в ограниченном объеме. Другие бунтовщики становятся исправными колесиками уже к четвертому десятку. Но мой запал ненависти он, видимо, расценивал чуть выше.

Я еще раз перечитал телеграмму и позвонил портье, чтобы справиться, какой сегодня день и час. Часы я уже давно не носил, в календари заглядывал так же редко, как в газеты.

Оказалось, что сегодня как раз четверг, и времени достаточно, чтобы добраться до аэродрома. Правда, если бы мне пришлось собирать вещи, я бы не успел. Но мой единственный чемодан так и остался нераспакованным. Он сиротливо стоял посреди псевдовосточной роскоши первоклассного гостиничного номера, такой же чужой среди окружающего его мира, как и я.

Я взял чемодан и, не оглядываясь, направился к дверям. Вот так, равнодушно и безлично, я сотни, тысячи раз покидал временные обиталища, из которых, вместо сентиментальных воспоминаний о прожитых часах и днях, выносил одно лишь чувство — горькое убеждение, что мне, Триденту Мортону, наследнику огромнейшей империи Мортон^{ов}, никогда не дано быть счастливым.

По дороге к дверям мне пришлось пройти мимо оправленного в старинную бронзовую раму зеркала, которое отражало мой костюм — грязный, измятый, с приклеившимися к липким местам окурками.

Усмехаясь, я вышел в коридор и подозвал горничную.

3.

Империя Муртонов как таковая даже не имела собственного административного здания. Важные совещания проводились в конференц-залах отелей. Когда мне полагалось присутствовать, для меня резервировались трехкомнатные апартаменты, даже при двухчасовом заседании. Мефистофель никогда не тревожил меня понапрасну, только в тех случаях, когда живой Муртон-младший мог произвести еще большее впечатление, нежели платиновая урна с Муртоном-старшим.

Иногда я пытался бунтовать, но то добавление к завещанию было построено по принципу капкана: Мефистофель имел возможность, ссылаясь на капиталовложения, ограничить мои доходы до минимума. А я, хоть и отвергал жизненные блага, обходиться без них еще не научился. К тому же Мефистофель умел вставлять скучнейшие заседания в привлекательную рамку. За час до начала мои апартаменты были битком набиты смазливymi девчонками, какими-то артистками и художниками, с которыми можно без особой скуки перемолвиться словечком, а в салоне я обязательно находил первоклассный любительский джаз. Мефистофель знал, что музыка, пожалуй, единственное, к чему я еще не остыл, его агенты рыскали в поисках хорошего саксофониста или исполнителя народного рока по всей стране.

Так было и на сей раз.

Я открыл дверь, меня встретили взрывы смеха, оглушительная музыка, какая-то девица подскочила ко мне с гостеприимно протянутой рюмкой. Но ее заслонил он. Благодушный, седой, улыбающийся.

— Марихуана? — спросил он, слегка притронувшись тонкими аристократическими пальцами к моей впалой щеке.

— ЛСД, — ответил я зло.

— Зачем, Тридент? Береги себя для будущего! —

Только после этого он обнял меня. Он действительно любил меня, любил так, как только может любить вдохновенный делатель тронов, подаривший отцу царство и желающий, чтобы сын распространил его на весь мир.

Ноа Эрквуд был очень непростым человеком. Чародеем бизнеса он стал, видимо, лишь потому, что здесь ничто — ни меняющийся вкус публики, ни превратности политической славы — не ограничивали его размаха. В юности он был всем, чем угодно: художником, оратором, артистом разъездного мюзик-холла, проповедником. Как-то он показал мне написанный в те годы философский роман — дай бог сегодняшним маракам сочинить такую книжечку! Он даже понимал мой бунт против бесчеловечного, так ловко рядящегося в гуманизм общества. Но он все надеялся приобщить меня к собственной истине. А заключалась она в том, что этот мир невозможно переделать. Можно только, играя на его слабостях, создавать великолепную симфонию финансового и промышленного могущества.

— А у меня для тебя сегодня сюрприз. — Он обнял меня за плечи и повел к расположившейся на длинном низком диване компании, среди которой выделялась огненно-рыжая поразительной красоты девушка.

Я когда-то действительно был равнодушен и к таким лицам, и к таким волосам, но все это было в прошлом, сейчас женщины существовали для меня только изредка, и то лишь как отрезвляющий антракт между двумя рюмками, и я подумал, что, пожалуй, старость не миновала даже Мефистофеля. В былые годы он никогда не допустил бы такой нечуткости к моим настроениям.

Но он подвел меня вовсе не к ней, а к молодому человеку с длинными ниспадающими на замшевый воротник иссиня-черными волосами и тоже черными, чуть раскосыми глазами.

— Это Лайонелл Марр, — сказал он с внезапно просветлевшими глазами. — Вот гений, не то, что я. Если вам удастся сработаться, весь земной шар через полвека изменит свое лицо!

О, как он был прав тогда! Я узнал об этом только через полвека. Тогда я еще ничего не знал, даже к какой нации принадлежал этот молодой гений, так независимо подавший мне руку, словно Тридентом Мортоном был он, а я безвестным левантийским евреем.

Я, действительно, сначала думал, что он еврей из Леванта, очень уж американизированно звучали и имя, и фамилия. Но тут та самая рыжекудрая вскочила с дивана.

— Надоели вы мне! Со своими глобальными масштабами и угрозами переделать мир! Видели мы таких. Сначала наобещают рай на земле, а сами даже приличного ада не могут устроить. Лай, лучше сыграй что-нибудь такое...

Лайонелл Марр тряхнул головой и направился к роялю. Оркестр только что иступленно сыграл среднюю часть песни, певец только что подхватил дикую мелодию, пианист словно прирос к клавишам. И вдруг они увидели приближающегося Лайонелла. Все разом смолкло, пианист соскочил с табуретки.

Я впервые почувствовал — этот двадцатилетний юноша рожден, чтобы властвовать. А когда он заиграл, понял — никакой он не поляк, и не еврей. Лишь цыгану дано так чувствовать музыку.

Потом мы уединились в ванной комнате, другого места для разговоров без свидетелей не оказалось, и Мефистофель рассказал мне, каким образом нашел Лайонелла. Я узнал, что при всех крупных университетах моим отцом (идея, разумеется, принадлежала Мефистофелю) были учреждены стипендии для особо одаренных студентов. В отличие от большинства тратящих деньги на научные фонды, колледжи и стипендии ради увековечивания своего имени, отец и тут предпочитал прятаться за фирменными щитами своих бесчисленных анонимных предприятий. Существовало еще одно отличие — отметки и прилежание не играли никакой роли, ценились лишь новые идеи.

— Лайонелл был первокурсником, когда мы встретились, — Мефистофель похлопал его по плечу. У него вообще были весьма фамильярные манеры, но только по отношению к людям, которых он ценил. Всех остальных он держал под железной пятой. — Тогда он высказал мнение, что на рынке, обеспечивающем потребности малолеток, вследствие чрезмерной конкуренции скоро должен наступить застой. Выход — делать бизнес на престарелых, о специфических нуждах которых до сих пор никто не заботился. Мы скупили по всей стране, главным образом в неосвоенных районах, где земля дешевая,

десятки тысяч акров. Там, где климат это позволяет, мы строили «рай» для стариков — свой домик, полное обслуживание, никаких шумных школ, никаких детей и собак.

— Видите ли, Трид, — молодой гений наглед с каждой минутой, — эгоизм зашел у нас уже так далеко, что дети — главная радость всех старых людей во все эпохи — превратились в раздражающую помеху. Чтобы понять эту тенденцию, надо быть сверхэгоистом, я именно таков. И еще есть одна мечта у каждого американца, которому удалось при жизни скопить немного денег, — чтобы его после смерти боготворили не только дети, но и правнуки. Я предложил господину Эрквуду в тех местах, где невыгодно строить рай для живых, создавать рай для умерших. Пантеоны вроде парижского Пер-Лашеза — кипарисовые аллеи, благоухание редких экзотических цветов, скульптурные группы, мраморные скамейки, чтобы у скорбящих родственников не затекали ноги, хоралы Баха по воскресеньям и прочим церковным праздникам плюс, главное, гарантированный фирмой уход за могилами в течение столетия. Представьте себе — завтра вы помираете, но еще в 2075 году ваш пра-пра-пра-правнук имеет возможность прослезиться над вашей ухоженной, озелененной, соответствующей самому строгому эстетическому вкусу могилой.

— В общем, на жаждущих бессмертия обывателях мы уже заработали больше, чем Англия на мини-юбках, — весело констатировал Мефистофель. — Люди прямо-таки влезают в долги, чтобы попасть в наш пантеон. Грандиозное дело! Но увь, чем прибыльнее, тем большая конкуренция.

И тут они рассказали мне, каким путем добились сначала объединения всех мелких конкурентов в Универсальный Пантеон, а потом полного банкротства, которое и привело к назначенной на сегодня торжественной церемонии слияния. Это было похлеще биржевых трюков — исподволь подготовленный, артистический по замыслу, беспощадный обман.

Я посмотрел на Лайонелла более внимательно. Многие историки называют Чингис-хана кровожадным чудовищем, а может быть, пирамиды черепов были ему

нужны лишь для того, чтобы ощущать величие своих стратегических замыслов?

— Пора! — сказал Мефистофель, пройдясь оценивающим взглядом по моему измятому грязному костюму. Другой, масштабом чуть поменьше, пожалуй, велел бы мне ради такого торжественного случая облачиться в самый дорогой. Но его власть держалась на виртуозном знании человеческой психологии — лишь безумно богатый человек мог себе позволить явиться на слияние с Универсальным Пантеоном в такой карикатуре на приличную одежду.

Мы прошли через все три комнаты моих апартаментов. Кто-то непринужденно танцевал, кто-то беседовал о высоких материях или налегал на бесплатную выпивку. Обычно присутствующие даже не знали, к кому и по поводу чего приглашены. Никто не обратил на меня внимания, кроме рыжекудрой, привставшей с дивана мне навстречу, да двух дюжих парней, которые немедленно бросили своих партнерш, словно вспомнив, что за дверьми дожидаются законные жены. Это были мои телохранители — Джеймс I, бывший главарь чикагской молодежной банды, и Джеймс II — бывший особый агент Центрального разведывательного управления. Если поездки за границу и доставляли мне некоторое удовольствие, то лишь потому, что после смерти отца маленький спортивный автомобиль, вместительный роллс-ройс, Джеймс I и Джеймс II оставались дома. Весьма возможно, что и за границей кто-то бдительно охранял меня от кулачного или пулевого контакта с современной цивилизацией, но я, к счастью, не знал моих охранников в лицо.

Мы вошли в конференц-зал, и я сразу же понял, насколько значительно сегодняшнее начинание. Даже мое присутствие Мефистофель не счел достаточным — на специальном, покрытом траурной драпировкой постаменте высился Мортон-старший. Вернее, отлитая из платины урна с его прахом. Меня так и подмывало снять платиновую крышку и проверить, много ли осталось в урне от папочки.

— Ну, как там Турция? — это был мой двоюродный брат, Болдуин Мортон. Пока что он ходил в главных директорах, но метил куда выше. За что он меня недолюбливал, было ясно нам обоим. Но Болдуин никак не мог

взять в толк, почему Мефистофель испытывает такую же неприязнь к нему, готовому священнодействовать в храме Бизнеса без выходных и отпусков. — Серали, одалиски, гашиши и все такое. Знаю я твой вкус... На днях я видел Тэда! Что-то он совсем скис, так же похож на будущего президента, как ты на своего отца. А помнишь, старик предрекал всем троим высшие почести...

Раздался приглушенный толстой скатертью стук молотка. Вначале меня страшно забавляло это подобие аукциона. Но Мефистофель обожал старые традиции — они придавали акульным побоищам благородные черты рыцарских поединков.

Болдуин высморкался и, бросив на меня косой взгляд (вообще-то он не страдал дефектом зрительных мускулов, но в моем присутствии постоянно косил), покорно занял свое место. Юрисконсульт тягучим голосом прочел текст соглашения. Мне с трудом удалось из этой канители выловить суть: актив обанкротившегося Универсального Пантеона переходил в наше владение по расценке 1000 долларов за стодолларовую акцию новой объединенной фирмы. Это относилось лишь к крупным держателям акций, мелкие лишались всего. А те, кто в течение долгих лет делал взносы в надежде провести после смерти сто обеспеченных уходом и комфортом лет на кладбищах Универсального Пантеона?

Слова попросил господин Кэннел. Я знал о нем понаслышке. Начиная с оптовой продажи венков, перешел на похоронное дело — сколотил из наикрупнейших предпринимателей в этой области мощную ассоциацию, подчинил ей всех розничных торговцев венками, гробами и прочими похоронными принадлежностями и, наконец, увенчал свою карьеру Универсальным Пантеоном.

— Хочу напомнить, что наше дело служит высоким гуманным целям. Нашим бывшим клиентам, потерявшим в результате банкротства не только сбережения, но и надежды, если так можно выразиться, на обеспеченное будущее, следовало бы разрешить льготные условия при оформлении нового контракта. Это было бы наилучшей рекламой для нашей грядущей фирмы, которую я, дабы увековечить память великого гражданина нашей страны, предлагаю назвать Универсальным Пантеоном Мортон.

— Никаких Мортон! — Мефистофель постучал костяшками пальцев по столу. — Покойник не любил глас-

ности. На нашем новом кладбище-люкс «Пантеон бессмертных» (цена могилы от 10 000 и выше) будет выстроен храм из чистого золота, где прах покойного найдет достойное себе место. Наши консультанты по психологии масс считают, что этот пример привлечет уже в течение первого года миллион дополнительных клиентов... Что касается льгот...

— Чепуха! — Мой двоюродный брат энергично встал. — Мы не филантропическое общество. Вам, господин Кэннел, следовало бы подумать об интересах своих клиентов до банкротства, а не после. Но вы можете предложить им хороший выход: не умирать!

Кто-то зааплодировал. Болдуин выпятил грудь — в эту минуту ему, наверно, уже мерещилась митра первосвященника.

— Можно мне слово? — попросил я.

— Слово имеет Мортон-младший! — торжественно объявил Мефистофель. По огромному конференц-залу прошел почтительный ропот.

— Можете объявить журналистам, что я попросил резервировать себе место возле папочки. Это тоже послужит рекламой. Но при одном условии — если моего двоюродного брата похоронят на другом конце земного шара. Совершенно достаточно, что мне приходится терпеть его присутствие при жизни.

Болдуин побледнел. Если существовало хоть малейшее доказательство того, что я чего-нибудь стою, — так это его ненависть. Я ощущал ее всегда и везде, когда бодрствовал и когда спал. Впрочем, Мефистофель знал об этом больше меня. Недаром он так настаивал на моей охране. Интересно, как эти упитанные похоронники среагировали бы на мою выходку? Скорее всего, не успели бы. Мефистофель обладал удивительной способностью разрядить любую грозу умело вставленным анекдотом. На этот раз ему не удалось проявить свою виртуозную гибкость.

Не знаю, как и когда, но перед нами вдруг возникла старуха. Она попала как раз под струю мощного вентилятора, пепельные волосы встали дыбом, под грязно-седым ореолом дергалось лицо, принадлежащее скорее тому свету, чем этому. Меня отнюдь не удивило, что ей удалось проникнуть сквозь дверь, на пути к которой стояли бесчисленные швейцары, лифтеры и охранники. Как

известно, доступ в Лос-Анжелесский отель «Амбасадор» в тот достопамятный вечер был разрешен только избранным лицам, и то по специальным пропускам, что, однако, не помешало никому неизвестному доселе Терхану Хану Терхану очутиться в такой дистанции от Роберта Кеннеди, когда малокалиберный, почти игрушечный пистолетик делает свое дело не хуже дальнобойной снайперской винтовки.

Удивляло то, что я, кажется, уже где-то видел старуху. Ну, конечно же! У Гойи, в его испанских зарисовках. Жительница взятого штурмом Толедо, познавшая на собственной шкуре великий полководческий талант Наполеона: дочь изнасилована солдатней, муж поднят на штыки, дом превращен в горящую головешку, любимая церковь — в конюшню.

Пока мои полупарализованные этим видением Джеймсы и прочие персоны, в чью обязанность вменяется ограждать деловых людей от докучливых посетителей, раздумывали, что предпринять, старуха заговорила:

— Он! — она показала дрожащим пальцем на урну с прахом моего отца. — Вы! — ее цепкие колючие глаза выхватили меня из полсотни сидящих за столом людей. — Будьте вы прокляты, Мортонь... Полжизни копила!.. — она вытащила из потрепанной, выдавшей лучшие виды сумки отпечатанный на роскошной веленовой бумаге сертификат с видными издали золотыми литерами «Универсальный Пантеон». — Могилу, и ту вы у меня отняли. На, подавись моими непогребенными костями! — Она скомкала бумагу и швырнула мне в лицо.

Один из Джеймсов, в суматохе я даже не разобрал — который, подскочил и заломил ей руку. Остальные навалились на нее, оттесняя к дверям. Но она, вырвавшись со свойственной безумию нечеловеческой силой и пробормотав тоненьким плачущим голосочком: «Не надо, я сама... сама...» — двинулась к выходу. Так мы по крайней мере думали, пока не увидели ее у раскрытого окна.

Потом была тишина. С высоты сорокового этажа мы не слышали удара тела о тротуар. Лишь чудом зацепившаяся за оконный шпингалет сумка жалобно звякнула замком и только после этого нырнула вслед за своей хозяйкой в бетонный океан.

В эту ночь я напился как никогда. Бары и рестораны мельтешили тошнотворным калейдоскопом, и в каждом

из них на месте швейцара стояла старуха со своим сертификатом. Проснулся я под утро где-то в районе портовых доков. Я лежал прямо на мостовой, и моя голова покоилась на пиджаке Джеймса I, а сам он без пиджака стоял, прислонившись к стене пакгауза, и невозмутимо курил. Через секунду, когда полузатуманенное сознание пробилось сквозь мутную волну похмелья и страшной головной боли, я увидел второго. Он сидел рядом с шофером в моем роллс-ройсе с журналом и карандашом в руке. Джеймс II любил кроссворды — говорят, у них в ЦРУ это входит в профессиональное обучение.

И в эту минуту я вспомнил Джека. Джек был моим товарищем по Гарвардской школе бизнеса. Но с бизнесом ничего не вышло — его сравнительно богатый отец, не без участия какого-то финансового гения вроде Мефистофеля, оказался в богадельне. Совсем недавно я узнал, что Джек открыл частное детективное агентство и даже прославился в каком-то запутанном деле.

На следующий день, потратив немало усилий на то, чтобы протрезвиться и избавиться от моих телохранителей, я сидел в его маленькой квартире в Бронксе.

— Не знаю, — он покачал головой. Может быть, он действительно был талантливее других детективов, но, судя по рано постаревшему лицу, слава не всегда превращается в чистоган. — Не знаю, — повторил он. — Докапываться до правды, которой ты от меня требуешь, небезопасно. Если я пойду на это дело, то только ради тебя. Представляешь ли ты себе, какого времени и каких денег это будет стоить? А может быть, тебе лучше и не знать, сколько людских страданий вобрали в себя твои миллиарды? Трид, пойми меня — я ведь желаю тебе только добра... Брось-ка все эти выдумки и выпьем, как полагается старым приятелям. У меня в холодильнике, кажется, еще кое-что найдется...

Вместо ответа я выложил из кармана все мои деньги. Никаких чеков, только банкноты — я не хотел, чтобы Мефистофель что-нибудь пронюхал. Джек начал считать. Когда он сосчитал, у него, как в лихорадке, стучали зубы.

— Ты с ума сошел! — вздохнул он. — За такие деньги я узнаю что угодно, даже, с каким архангелом бог вступил в противоестественную связь...

Через месяц он мне позвонил — все идет успешно.

Потом был еще один звонок — Джек считал, что нити у него в руках. А потом он исчез. Некоторое время я просматривал уголовную хронику, боясь наткнуться на его имя. Выстрел, автомобильная катастрофа — мало ли что могут придумать в таких случаях. А затем, собравшись с духом, я отправился на его квартиру. Бывшую. Соседи смутно слышали, будто он уехал не то в Канаду, не то в Европу. А я еще считал его честным человеком!

4.

Оленя я застрелил только после заката. Я был плохим охотником, любому зверю ничего не стоило перехитрить меня. Но этот шел на свидание, и такова сила любви — даже запах человека не заставил его свернуть с дороги. Олень ограничился тем, что в течение нескольких часов пытался сбить меня со следа. Но я изучил заранее место свидания, и в тот миг, когда невидимая самка услышала его призывной трубный глас, я пустил ему весь заряд прямо в подернутые любовной истомой глаза.

За год, проведенный в почти неприступном, уединенном месте, среди отрогов Каскадных гор, я сам превратился в примитивного зверя. Для меня это был единственный способ не растоптать вконец то человеческое, что во мне еще оставалось.

Я вырезал из еще трепещущего тела кусок мяса килограммов в двадцать, взвалил его на плечи и пошел. Кровь с туши капала на кожаную рубаху, пальцы были в липкой крови. Но я не остановился ни у одного ручья, чтобы помыть их. Важнее было дотемна добраться до дома — самодельной хижины, на постройку которой я затратил несколько недель.

Я сидел у костра. Временами, когда сок жарившегося на костре мяса попадал в огонь и угли шипели, в почти непролазной чаще вспыхивали желтые огоньки — это запах оленины приманивал любителей бесплатного угощения. Послав в темноту несколько пуль, я снова принялся за чтение. Отсвет костра суетно бежал по глубокомысленным философским концепциям Канта. Пока я читал, огонь, обнаглев, лизнул красным языком аппетитную белую бумагу. Не знаю, какой черт залез ко мне в душу, но

вместо того чтобы спасти Канта, я швырнул книгу в прожорливую красную пасть пламени: «На, жри!»

И тщетная потуга найти у философов объяснение тому, что происходит с нами, и жалкая попытка искупить свою вину перед человечеством одинокой жизнью охотника показались мне такой же бессмыслицей, как все, что я делал все эти годы. Монах Ордена францисканцев, инвентарь игорных домов Лас-Вегаса, корреспондент на вьетнамском театре военных действий, участник антарктической экспедиции, автогонщик «Дженерал Моторс» — какие лазейки я только ни перепробовал, чтобы выбраться из собственной шкуры.

И когда в желтоватом пламени костра возникла черная фигура дьявола-искусителя, я уже вполне созрел. Существовали лишь два способа позабыть эту проклятую шкуру — или прорешетить ее свинцом (для этого я нуждался в публике), или же, надев поверх нее пиджак цивилизации, затеряться среди бесчисленных желтых огоньков наших небоскребных джунглей.

— Как вы сюда попали? — был мой первый недоуменный вопрос. Вертолет я бы услышал; к тому же свою хижину-замок я построил в таком месте, где приземлиться мог только ангел. Обычно пилот сбрасывал мне почту наугад, и я, смотря по настроению, или кидал ее непрочитанной в огонь, или предоставлял истлеть на том дереве, в ветках которого застревал пакет.

— Пешком. Проголодался как волк. — Лайонелл Марр, не спросив разрешения, выхватил висевший на моем поясе нож и одним взмахом отрезал длинный лоскут еще полусырой оленины.

Я, не видевший его уже несколько лет, не знал, чему более удивляться. Мясо местных оленей жестковато, мне лично несмотря на годичную практику никогда еще не удавалось отсечь кусок с первого удара. Не научился я также есть его почти сырым, а Лайонелл делал это с видимым удовольствием. Поражало и то, что у него хватило стойкости пройти десять миль пешком, да еще в темноте, и при этом не порвать и не запачкать свой дакроновый костюм. Новым было и выражение благодушной жестокости, в глазах некоторых женщин оно могло сойти за подлинную мужскую красоту. Но сильнее всего меня удивляло: рядом со мной сидит человек — первый за эту осень.

— Так на чем же Мефистофель надеется купить меня в сей раз? — спросил я. Почему он не явился сам, не требовало особых комментариев. После ожесточенной десятилетней войны, когда мы схватывались не на жизнь, а на смерть, за мое право пройти мимо уготованного мне великого будущего, он побаивался меня. К тому же в его годы преодолеть пешком зону непроходимости, которой я отгородился от цивилизации, было мученическим подвигом.

— Вы его плохо знаете, Трид, — краешком губ улыбнулся Лайонелл. На его манерах лежал отпечаток постоянного общения с Мефистофелем — та же чуть снисходительная улыбка, то же благодушие, которое человек, не знакомый с повадками вулканов, легко принял бы за равнодушие. Но мое отточенное на острых гранях одиночества внутреннее око разглядело другое. Мефистофель был ясновидцем текущего времени. Лайонелл — устремленным в грядущее пророком.

— Эрквуд добрался бы сюда ползком, знай он, что это необходимо для конечной цели. Ахиллесова пята есть почти у всех людей большого полета. У него это особое честолюбие. Будь я Эрквудом, вас уже давно не было бы в живых. Вы ведь знаете, согласно завещанию, он в случае вашей смерти становится опекуном разделенного между остальными родственниками наследства. Для вашего двоюродного брата это означало бы только теоретическое богатство, для господина Эрквуда — ничем не ограниченное пожизненное могущество. Но ему нужна душа — ваша душа, это стало его манией, и до самой кончины ничто не заставит его признать себя побежденным.

— Это проклятие всей моей жизни, — сказал я, пробуя ножом мясо, затем подбросил в костер сухих веток.

— Но оно спасло вам не раз жизнь, — сухо заметил Лайонелл. — Вы не задумывались, почему во Вьетнаме вьетконговцы ни разу не нападали на базы, где вы находились?

Да. Мефистофель был и на такое способен. Пока шла большая война за престиж Запада, мортоновская империя всей силой своих денег и влияния вела маленькую сепаратную войну. Любой район, где я появлялся в качестве военного корреспондента, за неделю до этого круглосуточно подвергался бомбардировкам нашей

авиации. Сколько, должно быть, погибло безвинных вьетнамцев ради того, чтобы у Тридента Мортон не упал с головы ни один волосок! Честно говоря, я поехал не только, чтобы испытать до дна омерзительный коктейль, что-то вроде «Кровавой Мери», который наше время так искусно смешивает из политики и крови. Возможно, я подсознательно искал себе смерти. Постоянная опека Мефистофеля лишила меня даже этого удовольствия.

— Так как же называется приманка? — переспросил я.

— Телемортон. Телевидение нового рода. Вы будете руководить им. Мир в действии — никаких бесед для домашних хозяек, скучной сводки происшествий, никакой болтовни. Пожар, землетрясение, ограбление банка, стычка демонстрантов с полицией, налет авиации, рухнувший мост, автомобильная катастрофа — все это в собственном доме и почти синхронно с событием, даже если оно происходит за тысячи миль. Неплохая идея... а?

— Ваша?

— Я рассчитал, что телевидение еще до конца века вытеснит любой другой вид общественной информации. А сила — это в первую очередь информация. Вы можете ввести в город танковые или парашютные части, расстрелять верхушку, арестовать остальных. Но если вам не удастся довести до всеобщего сведения, что прежнее правительство свергнуто, чтобы восстановить поправленную свободу и повести страну к всеобщему процветанию, удержать власть будет трудно... Мистер Эрквуд прохлюпал в свое время возможности телевидения. Арена уже переполнена гладиаторами, убить их можно только абсолютным новшеством.

— В таком случае лучше всего потчевать публику убийствами, — сказал я.

— Вот именно! Благодаря моему природному прилежанию, я был одним из немногих счастливицков, увидевших события в «Амбассадоре». Назавтра был коллоквиум по зоологии: «Почему обезьяна стала человеком?» Чтобы не заснуть над лекциями, я включил телевизор. Считайте, что Телемортон обязан своим рождением смерти Роберта Кеннеди. Вы его близко знали?

— Достаточно, чтобы жалеть о его гибели.

— Полстраны ходило в трауре. Мне его тоже жаль. Но по другой причине, — Лайонелл потрянул головой. — Есть люди, в которых стреляют, и люди, предпочитают

щие стрелять в других. Я принадлежу к последним. Если добьюсь своего, над моим гробом воздвигнут пирамиду из проклятий. Долговечней и выше Хеопсовой.

— Это не вы случайно стреляли в меня в Сайгоне? — засмеялся я.

Название кафе, в котором мы тогда сидели, давным-давно стерлось из памяти, но сержанта Томпсона из «Зеленых беретов» я частенько вижу во сне. Он был прикомандирован к моей особе, официально — Армейским центром по связи с прессой, неофициально — Мэфистофелем в качестве моего телохранителя. Я подозревал это, но прощал его за недюжинный талант рассказчика. Сержант Томпсон становился красноречивее Цицерона, когда описывал всяческие пытки и способы истребления, в которых принимал участие. Он был великолепным учителем, благодаря ему мне удалось по-настоящему осознать, какого совершенства человек добился со времен примитивного каннибализма. В тот день очередной рассказ не был доведен до конца — помешали влетевшие сквозь стекло пули. За секунду перед этим меня мучило (красноречие сержанта время от времени вызывало приступ морской болезни), я сидел, согнувшись в три погибели, пули, пройдя над моей головой, попали в горло ему. Последнее его слово было «дерьмо». И я так и не понял, относилось ли оно к смешавшейся с моей блевотиной крови или к жизни вообще.

— А что заявил убийца, когда его поймали? — без особого интереса осведомился Лайонелл.

— Что он действовал по поручению вьетконговцев.

— Могу вам по секрету сообщить результаты расследования, проведенного по просьбе Эрквуда мною. Человек, стрелявший в вас, всю жизнь прожил в Америке и прилетел в Сайгон за день до вашей знаменательной встречи. Перед посадкой на самолет в Сан-Франциско он беседовал с доверенным лицом вашего двоюродного брата... Поужинайте, и мы, пожалуй, двинемся.

Я отрезал себе кусок мяса и, старательно прожевывая его, запил водой.

— Да, пирамиды вам не миновать, — процедил я сквозь зубы. — Вы необыкновенный человек. Прийти как раз в ту минуту, когда созревший плод падает вам прямо в руки.

— Какой же вы все же простак, Трид! — улыбнулся

Лайонелл. — Ведь это вы сами информировали меня о смене настроения. У вас в последнее время, как у многих одиноких, появилась привычка разговаривать с самим собой. Ну, а кедровые шишки, если снабдить их соответствующей аппаратурой, тоже имеют уши.

Я бросил недожеванную оленину в догорающий костер. Вся эта комедия встала у меня поперек горла. Однообразное меню, основанное на благородном принципе кормиться трудом своих рук, казалось мне сейчас таким же анекдотом, как моя увешанная микрофонами отшельническая обитель.

Лайонелл выхватил из костра горящую головешку, поднес ее к хижине и, подождав, пока она загорелась, повернулся: — Поужинаем в Сиэтле!

Мы шли, словно по узкому ходу, освещенному с обеих сторон желтоватыми фонариками — настороженными глазами хищников. Потом фонарики побежали от нас в противоположную сторону и нырнули в полуосвещенную догорающим костром темноту. Залязгали зубы, заклокотали в смертельной ненависти к сопернику набитые мясом глотки, запахло паленой шерстью. Из хижины вырвался фейерверк — это лучшие умы человечества — от Сократа до Сартра — вносили в пламя свою посильную лепту. И мы увидели хищников, прыгавших прямо в огонь, чтобы урвать кусок побольше.

Когда мы отошли примерно на милю, Лайонелл зашвистел. Что-то наподобие птичьего щебета с руладой и кадансом. Никто ему не откликнулся, но я инстинктивно почувствовал, что мы не одни.

— Выходит, меня не только подслушивали, но и охρανяли, — сказал я минут через десять, когда удалось наполовину преодолеть унизительное чувство ребенка, которому взрослые разрешают, сидя верхом на опрокинутом стуле, разыгрывать из себя локомотив.

— А как же, — Лайонелл шагал мерным, легким, почти бесшумным шагом. — Вы могли забыть о существовании Болдуина Мортонa, но господин Эрквуд ничего не забывает.

— Но кто же? Где вы нашли таких великолепных исполнителей? Я ни разу не слышал ни малейшего треска или хруста, не заметил ни одного следа.

— Индейцы. Хотя они и загнаны в резервации, хотя и вяжут столь ценимые снобами галстуки и устраивают

балаганы в обмен на подачки туристов, некоторые из них, не в пример нам, еще не разучились жить в единении с природой.

Мы вышли на освещенную мощными вертолетными прожекторами лесную прогалину. Вертолет был наполовину красным, наполовину черным, с огромными буквами на борту: «Телемортон Соединенные Штаты. 531». Я уже собирался подняться по трапу, когда увидел их. Они стояли на опушке леса, почти сливаясь с ним — двадцать одетых в маскировочные комбинезоны неподвижных фигур. У каждого за плечом висел сверхсовременный автомат, лук и колчан со стрелами. Это было так несурово, что я даже не рассмеялся. Как в плохом фильме, где древние римляне, погоняя впряженную в боевую колесницу квадригу, освежаются жевательной резинкой.

— А лук зачем? — спросил я наконец, и в ту же секунду сам догадался. Все это время они питались таким же способом, как я, выстрелы выдали бы мне истину.

Я полез первым. Лайонелл, чуть помедлив, небрежно помахал им рукой, и тут я увидел уже нечто совершенно диковинное. Индейцы согнули туловища в каком-то чудовищном по синхронности глубоком поклоне. По фильмам (половина образования современного человека зиждется на кино) я знал, что такого приветствия удостоивался в былые времена верховный вождь племени. Но какое отношение это имело ко мне, Триденту Мортону?

Мы взмыли вертикально вверх, и почти в то же мгновение вокруг нас засвистели пули — будто огромная стая перелетных птиц.

— Не пугайтесь, Трид, — усмехнулся Лайонелл. — Это только салют.

5.

Стоя под душем, я сквозь приоткрытую дверь ванной смотрел, как она натягивает чулки. Волосы огненным водопадом низвергались на бедра того нежно-молочного цвета, каким обладает большинство рыжих. Прозрачно-черный чулок медленно дополз до красных волос, образуя вместе с белым телом ослепительное трехцветие, от которого зрители придут сегодня в восторг. Тора Ва-

леско была нашей главной звездой, и, возможно, именно это обстоятельство окончательно утвердило меня в своем решении.

Был момент — в шумном ресторане Сиэтлского аэровокзала, когда я чуть не сбежал. Сама идея насыщать передачи сценами насилия привлекала меня. Уже давно, особенно после Вьетнама, я понял, что этот безумный мир, если и исцелим, то только лошадиной дозой собственного безумия. Мне казалось, люди, впуская при помощи Телемортонa в свой дом ужасы, притаившиеся доселе на улицах, в других городах, за чужими морями, поймут в конце концов весь ужас этой самоубийственной эпохи. Но в ресторане я увидел молодого человека, методически избивавшего свою спутницу под одобрительные усмешки посетителей, и я подумал, что время для наглядных уроков, пожалуй, давно пропущено. Пропущено в тот украшенный победными флагами год, когда первая мировая война торжественно провозглашалась последней.

И тогда Лайонелл сперва послал молодого человека под стол небрежным, словно выполненным кончиками пальцев, апперкотом, а потом вытащил из кармана фотографию Торы. Поза была почти такая же, как сейчас, снимок стереоскопический, и, погружаясь в поначалу хладнокровное созерцание великолепного тела, я внезапно задохнулся под захлестнувшей меня заново красной волной.

— Может быть, это к лучшему, что Мефистофель сыграл со мной тогда свой любимый фокус, — пробормотал я, обтираясь жестким, словно наэлектризованным полотенцем.

— Ты что-то сказал мне? — спросила Тора. Она была полуодета, такое впечатление сложилось бы у постороннего наблюдателя. Но именно в этой короткой черной тунике, пронизанной электрическими нитями, которые при повороте браслета на руке Торы вспыхивали багровым пожаром, она должна была сегодня предстать перед телезрителями.

— Ах так, все еще не отбросил свою скверную привычку разговаривать с самим собой. — У нее был особый смех, он сначала звонко выстреливал в потолок, а потом, медленно переливаясь, спускался на парашюте. — Но ведь сейчас ты больше не одинок.

Она подошла ко мне и всем телом втиснулась в мое, еще полумокрое. Каждую металлическую нить я чувствовал так, словно она выросла в мою собственную кожу. И мне сразу вспомнилась встреча — не первая, та, что в отеле «Уолдорф-Астория», а вторая. Я как раз расстался с францисканским орденом, и хотя по части плотских радостей и там себе ни в чем не отказывали, изощренный вкус монахов исключал из этого правила женщин.

— Ты была первой, которая мне повстречалась, — сказал я. — Вот и все. Тогда и теперь. Так что не воображай.

— Не верю, — она повернула браслет, проверяя исправность механизма. Комната на минуту словно озарилась факелом. Был всего восьмой час, и я еще хорошо помнил времена, когда в такой позднеосенний вечер можно было читать, не зажигая лампы. Но за эти десять лет, пока я отсутствовал, многое переменялось. Серый нью-йоркский смог стал почти черным, состоятельные люди украшали крыши своих домов установками для фильтрации воздуха.

Отец, слава богу, умер до черного смога, а я, считая этот дом временным пристанищем, ничего не хотел менять. Слуг в доме давно уже не было, большинство комнат производило впечатление покойницкой, и, когда я невзначай забрел в личные апартаменты отца, оказалось, что трудолюбивые пауки воспользовались золотым унитазом в качестве каркаса для паутинного небоскреба.

— Не веришь? А почему? — спросил я.

— Помнишь, я попросила Лайонелла что-нибудь сыграть?

— Ну, и?

— Пока он играл, ты, сам того не замечая, все время смотрел на мои руки. Я уж собиралась спросить: не романтик ли ты.

— И все же я чуть не прошел мимо тебя, когда после монашеской кельи головой вниз бросился в Бродвейский водопад. В водяной пыли одну капельку не разглядишь.

Я опять вспомнил ту бурную ночь. Перед этим было не мало выпито, и вся она как бы колыхалась за красным живым занавесом. Я тонул в ее волосах, тоненькими колечками прядей обвивал свои пальцы, а потом иступленно рвал их, и яростные вспышки бродвейской рекламы артиллерийскими сполохами били по моему, вжа-

тому в окоп постели, беззащитному телу. А потом я ждал ее у артистического подъезда Рокфеллер-центра, где она должна была выступать, и она не пришла.

Тора исчезла из Нью-Йорка, так же, как перед этим исчез Джек, и я отчаянно искал ее, пока не понял, что за этим опять стоит Мефистофель. Мудрый, он знал: потерявшего аппетит к жизни весьма часто исцеляет единой отведенное блюдо, которое затем не сыщешь ни в одном ресторане. Но на этот раз Мефистофель перемудрил — как только я разобрался в нехитром механизме постоянно убегающего горизонта, с меня смыло всю блажь. И я ни разу не вспоминал Тору до той минуты, когда Лайонелл снова воскресил ее, небрежно вытащив из своего кармана.

В дверь постучали.

— Детки, вам пора. — Мефистофель постарел, но не слишком. Такие люди обычно стареют до момента полного расцвета, а уже потом лишь прибавляют в седине, весе и тщательно скрываемых от посторонних глаз болезнях. — У меня такое впечатление, будто ты только что говорил обо мне. — Он улыбнулся, пройдясь оценивающим взглядом по Торе — с ног до головы и еще раз — в обратном порядке. Эта оценка не имела ничего общего с мужским рынком, где акции той или иной женщины повышаются или падают соразмерно индивидуальному вкусу. Она была для него Телемортонем и ничем больше.

— Угадали. Разговаривал, но лишь с самим собой. Торе незачем знать, как вы, стоя за кулисой, дергали веревочку.

— Ах, эта история с ее загадочным исчезновением? — Он поднял с ковра привезенный мною в качестве сентиментального сувенира охотничий нож и, отрезав кончик сигары, закурил. Никогда раньше он не курил, и если делал это сейчас, то уж наверняка врачи категорически запретили курить. — Надеюсь, Тридент, вы меня давно простили, тем более, что у вас обоих впереди минимум полвека безоблачного счастья.

— А почему не целый? — поддразнила его Тора.

— Ну, столько вы не проживете. — Он взял ее под руку и повел вниз по лестнице к бронированному автомобилю, поджидавшему нас у подъезда.

Бронированные автомобили тоже являлись одним из

новшеств, ошеломивших меня — дикаря, перенесенного из своих лесов напрямик в сердце технического прогресса. Существовали и цельнопластмассовые, и с бесшумным электрическим двигателем. Но богатые люди предпочитали броневики — из-за гангстеров, как мне мимоходом объяснила Тора.

Водитель, увидев меня, захлопнул увесистый вечерний выпуск «Нью-Йорк Дейли Ньюс Таймс Геральд Трибюн» (уже в течение нескольких лет это объединенное издание выходило вместо прежних четырех газет). Но я успел разглядеть большое, во всю полосу, объявление, которое мы сегодня напечатали во всех, абсолютно всех газетах:

**Телемортон
по 21 каналу,
которым оборудованы исключительно телевизоры
Телемортон
Первая передача сегодня в 21 час В. А. времени**

— Ты не представляешь себе, сколько денег вложено в это дело. — Мефистофель, оглядев в обзорный видеон улицу, кивнул шоферу. — Поехали!.. Телебашня, где вам предстоит выступать, только случайно-выпавшая из кармана мелкая монетка. Годами мы готовились к этому бою, годами! Самый мощный телевизионный завод в мире, восемьдесят конвейеров, с каждого ежеминутно сползает огромный ящик с маленьким секретом...

— С каким? — поинтересовалась Тора.

— Это вы узнаете... завтра. — Перед словом «завтра» Мефистофель как-то странно запнулся. Я инстинктивно покрепче прижал Тору к себе, прядь ее волос щекотно коснулась моей щеки, и я засмеялся. А Мефистофель уже снова швырял в нас пригоршни своих почти фантастических начинаний. Тысячи вертолетов во всем мире, при них круглосуточно дежурят две тысячи телеоператоров.

— А зачем второй? — снова спросила Тора. Этот приступ автоматических вопросов свидетельствовал о приближении сценической лихорадки.

— Если с первым что-то случится!.. Видео пленка будет доставляться пятьюдесятью сверхскоростными реактивными самолетами, построенными Дугласом-Макдонеллом по нашему специальному заказу. Крейсерская скорость свыше трех тысяч миль в час! Ни один черт

не сумеет нас обогнать! А крупнейшие голливудские киностудии, купленные нами на корню! Со всеми режиссерами и лифтерами! Сто фильмов уже заготовлено впрок, и каких! Ни в одном кинотеатре мира зритель их не увидит, только по Телемортону!

— До выступления осталось всего двадцать минут, — Тора уже в который раз сверила время по вмонтированным в обручальное кольцо часикам.

— Успеем... Если нас только не обстреляют по пути!

Мефистофель захохотал. Шутка была, действительно, не плохая, я-то знал, что с таким эскортом не ездил еще ни один президент. Я был против, но Мефистофель убедил меня: конкуренты способны на любое, дабы лишить Телемортон главную звезды — Торы Валеско.

— Но видел бы ты мою кардиограмму после того, как Лайонелл представил первую смету! — продолжал он, отхохотавшись. — Я никогда не вкладывал твои деньги в верняк, как другие. Рисковать миллионом, проиграть его или завоевать для нашей империи еще одну провинцию — вот мой девиз! Но даже я чуть не отступил перед этим Рубиконом, за которым лежала не жалкая Италия, а зажатый в кулаке Телемортон трепещущий мир. Помнишь, я тебе тогда сказал, что Лайонелл Марр — гений? Это неправда. Гении создают империи ценой жизни собственных солдат. А он при помощи чужой крови создает тебе такую, какая не снилась ни одному Цезарю!

В обзорном видеоне промелькнула вывеска телевизионной мастерской. Стоявший в дверях владелец, позевывая, посмотрел нам вслед.

— Представляешь себе, как покупатели наших телевизоров будут его поначалу штурмовать — мол, передачи Телемортон принимаем отлично, а с остальными что-то неладно. Цвет не тот, изображение искажено. — Мефистофель повернулся к Торе. — Вот ваше женское любопытство насчет маленького секрета и удовлетворено. Простой как будто фокус, а какие ученые ломали себе головы над этим... Мы, конечно, продаем с обычной гарантией: «Не нравится — деньги назад!»

— Но стоит им разок увидеть Тору на экране, как все прочие программы перестанут для них существовать, — подмигнул я.

Мефистофель сдержанно улыбнулся:

— Это ты верно сказал, Трид. Вся страна превратится в сумасшедший дом. Объявление суховато, — он показал на бегущий навстречу фасад с тем же многократно увеличенным текстом. — Но это с умыслом. Наши агенты вот уже неделю подпускают слух, что пахнет космической сенсацией...

Мы объехали здание телецентра. Теснимая полицейскими толпа глазела на стоящую вертикально сорокаэтажную сигаретную коробку. Нижняя половина из черного синтетического камня, верхняя из красного — сплошной монолит без единой надписи, без единой двери, без единого окна. Мы были первыми, целиком перешедшими на искусственный дневной свет — настолько естественный, что он преломлялся в капле воды цветами радуги.

Броневи́к вполз в подземный туннель, видеон потемнел, потом словно вывернулся наизнанку. Я даже сжался, до того объемным показалось появившееся в нем лицо под форменной фуражкой с надписью «Телемортон». Глаза величиной с тарелку критически оглядели нас, потом огромный рот заявил: «Все в порядке». Видеон опять превратился в обычный, и мы увидели медленно уползавшие в стену створки металлических ворот, между которыми возникла узкая щель.

Я выскочил первым. Мефистофель помог Торе вылезти, но сам остался.

— Желаю удачи, детки!

— А вы? — удивился я.

— Увижу вас по телевизору из конференц-зала Объединенного Пантеона. Сегодня обсуждается мое предложение — бесплатные места погибшим при исполнении служебных обязанностей телеоператорам и пилотам. Если Болдуин Мортон — он теперь у нас главный могильщик — заявит, что мы не филантропическое общество, я ему шепну на ухо одно словечко...

— Какое? — спросил я, уже догадываясь, что он имеет в виду.

— Сайгон!.. А жаль, что тогда еще не существовал Телемортон! Зрители лишились огромного удовольствия. Пули, кровь, блевотина — вся наша эпоха в полуминутном эпизоде!

У входа в Телевизионный театр нам с Торой вручили по пачке сигарет. Наполовину черная, наполовину красная коробка, точная копия здания, в котором мы находились. Ни названия, ни фирмы изготовителя, ни цены. Но я был уверен — завтра каждый младенец будет знать, что сигареты «Телемортон» стоят двадцать центов.

— Только по одному! — строго заявила нам девушка в входящей снова в моду мини-юбке. На лихо заломленной пилотке сверкал вертолетик с надписью «Телемортон». Ее палец, готовый нажатием кнопки стронуть с места разделенную на квадраты металлическую дорожку, опустил.

— Я сегодня выступаю, — сказала Тора, тесней прижимаясь ко мне.

— У нас одинаковые права для артистов и зрителей театра.

— Пропустить, дура! — заорал над моей головой металлический голос. — Это Тридент Мортон, руководитель Телемортонна.

Фотоглазок потух, но металлическая стенка коридора, который должен был выкатить нас прямо в зрительный зал, еще с полсекунды вибрировала.

— Извините, господин Мортон, — девушка покраснела. — Проверяющих роботов проектировал сам Лайонелл Марр, ему кажется, что это чисто англосаксонский юмор.

— Он цыган, — объяснил я.

— Ну, тогда все понятно, — она показала на большой плакат. — Это тоже он.

— «Дамы и господа. У нас сдают в гардероб не только шляпы, но и огнестрельное оружие. О стрельбе позаботится Телемортон», — вслух прочла Тора.

— Отправить вас малой или большой скоростью? — спросила девушка.

— Малой, — улыбнулся я. — На сцене целоваться уже не придется.

Девушка опять почему-то покраснела. Уезжая, я увидел, как она жадно набросилась на спрятанную при нашем появлении газету.

— Свадебное путешествие в миниатюре, — засмеялась Тора, забрасывая мне за плечи руки. Но тут меня

с чудовищной силой приклеило к металлической стене тем местом, где у меня в кармане находился револьвер. Я знал заранее об этой магнитной ловушке, но хотел немножко напугать Тору. Она действительно испугалась, когда коридор с бешеной скоростью вынес нас обратно к девушке в мини-юбке.

Та снова спрятала газету, без всякой улыбки сунула мой револьвер на полочку, выдала мне номерок, и мы покатили.

Метров через двадцать наш квадрат внезапно остановился, из потолка бесшумно опустились стены особого сплава.

— Не пугайся, это детонационная камера, — быстро предупредил я. — Если какой-нибудь посетитель запаса бомбой, он тотчас взорвется вместе с ней, а все остальные даже не услышат взрыва.

— Надеюсь, у тебя нет бомбы с собой?

— Если не считать тебя, — пошутил я. — Уж ты задашь им сегодня жару.

Мы даже не заметили, как продольные стены опять ушли в потолок. Еще несколько секунд — и движущийся коридор остановился. Мы были в телевизионном театре.

Я никогда до этого не бывал в нем, организационное руководство да еще Тора отнимали все время, и даже ахнул от удивления. Я представлял себе нечто сверхмодерное — многоярусную космическую ракету. Но Мефистофель и здесь проявил свое пристрастие к ветхозаветному оформлению. Это был точный двойник построенной в конце прошлого века парижской Гранд-Опера — позолота, зеркала, огромные бронзовые люстры с хрустальными подвесками, вишневый бархат кресел и даже допотопные ложи бенуара, о существовании которых я знал только из кино.

Но бархат при ближайшем рассмотрении оказался синтетическим, кресла были диковинной формы, и повсюду — из потолка и пола, из барьеров лож и даже из спинок кресел выглядывали сверкающие жерла телеобъективов.

Те же контрасты нас ожидали на сцене — лепные фигуры муз по бокам, а вместо задника — металлическая стена.

На потолке зажглась надпись: «Внимание! Камеры включены!» Пока синтетически-бархатный занавес раз-

двигался с ужасающей медлительностью, приведшей бы в ярость даже постановщика времен Наполеона III, я еще раз оглядел участников передачи. Их было ровно сто — кинознаменитости, не менее знаменитые политические комментаторы, комики, певцы, танцоры. Тора сидела немного впереди, ее черная туника пока оставалась черной.

Ни одна телевизионная передача не давала еще зрителям возможности увидеть сразу весь цвет американского искусства и политической мудрости. Но я-то знал, что баснословные гонорары уплачены не за то, что они сегодня скажут, споют или спляшут. Они были такой же позолоченной мишурой, как лепные амурчики на потолке, — все, кроме Торы.

Занавес раздвинулся до конца. Зал был почти полон, пустовало лишь несколько мест. Я подошел к микрофону, скосив один глаз на контрольный экран. Над обычной заставкой с моим именем вырос я сам. Столь приличного костюма мне давно уже не приходилось надевать. Но на этот раз он был к месту. Я поправил пробор, подтянул галстук и произнес свое короткое обращение:

— Начинаем первую передачу Телемортон. Впервые в мире вы увидите факты и только факты. Никакой фальши, никакого обмана, никаких миражей... А теперь наша звезда Тора Валеско представит вам остальных участников программы. Желаю вам приятно провести вечер!

Тора встала. Это движение было тщательно заучено, и, поскольку большая часть репетиций проходила перед зеркалом нашей спальни, мне оно уже не доставляло никакого удовольствия.

— Дорогие зрители! — начала она, протягивая руку к браслету. Поворот — сейчас она под медленное затухание прожекторов превратится в багровое пламя. Но ничего не произошло. Изогнувшись в неестественной позе, она заглядывала в контрольный экран.

Я тоже посмотрел туда. Экран показывал одного из зрителей театра с развернутой газетой.

Я увидел наше объявление во всю полосу, узнал вечерний выпуск «Нью-Йорк Дейли Ньюс Таймс Геральд Трибюн». И, кроме того, я, наконец, понял, почему и водитель броневика, и телемортонская девушка в мини-юбке прятали его от меня. Объявление было на

правой стороне, а на левой под заголовком «Хроника скандальной жизни» несколько репортажей и одна фотография. Кровать, которую я сразу же узнал, а на ней мы — я и Тора.

Тора уже овладела собой, недаром она была профессиональной актрисой.

— Первым хочу представить вам кумира американских женщин, всемирно известного киноактера...

Продолжения я не слышал, меня как ветром сдуло со сцены. За кулисами начинался другой мир — огромная панель с цветными лампочками и сложной аппаратурой. Один из дежурных диспетчеров как раз читал газету, другой уже успел прочесть. Я поднял ее с пола и пробежал глазами сопутствующий фотографии текст. Текст немного умерил мое бешенство — имена, краткие биографии и броским шрифтом: «Наши сердечные поздравления к предстоящему бракосочетанию».

А может быть, сейчас, действительно, поздравляли таким оригинальным способом? Я ведь был отставшим от времени дикарем и не очень разбирался в сегодняшних правилах приличия.

На плане Нью-Йорка вспыхнула рубиновая звезда, одновременно запела сирена.

— Сектор сорок второй Восточной улицы, — сказал диспетчер, передавая мне трубку.

— Драка! Грандиозная драка! — завершал чей-то голос. — Две молодежные банды! Дерутся ножами... Я слышал, кто первым сообщит о таких происшествиях, получит от Телемортон кучу денег. Это правда? — И он торопливо сообщил свою фамилию, имя, адрес.

Почти не думая о том, что делаю, я нажал три кнопки. Засветилось три видеона. На первом появилась комната. Человек в удобной куртке, на которой было написано «Телемортон. Оператор 923» уже соскакивал с кровати. Я дал ему задание, потом повернулся ко второму видеону. Точно такая же комната, точно такая же кровать, но вместо куртки — комбинезон с надписью: «Телемортон. Пилот 923». Третий видеон, не дожидаясь меня, включился сам в звуковую сеть.

— Вертолет номер 923 готов к отправлению, — доложил дежурный авиамеханик. За его спиной я видел всю крышу Телецентра, освещенную неистовым заревом мощных прожекторов. Сорок вертолетов, и у каждого —

авиамеханик. И у каждого в руке — я громко чертыхнулся — та же газета.

— Что поделаешь, Трид, мы живем в век сенсаций. — Возле меня стоял Лайонелл. — Ты уже не раз попадал в скандальные истории, пора пообвыкнуться.

— Но Тора, — сказал я не совсем уверенно, чувствуя, как возмущение вот-вот перерастет в истерический хохот.

— Твоей Торе на это будет наплевать, — чуть загадочно улыбнулся он. — Что-нибудь интересное? — Он показал на видеон, в котором промчался лифт с телеоператором и пилотом.

— Драка с ножами. Могут быть тяжелораненые.

Экран погас, зажегся другой, широкоформатный, и мы уже с борта взлетевшего вертолета увидели убегающую в темноту озаренную крышу телебашни.

— Сразу включать в программу? — спросил я.

— Успеется, — отмахнулся он. — Дадим видеопленку.

Я вернулся на сцену в тот момент, когда Тора представляла Дрю Пирсона. Когда-то политический обозреватель такого калибра, что перед ним трепетали даже президенты, он уже давно ушел на покой. Только наш королевский гонорар смог выманить этого дряхлого льва из его комфортабельной домашней клетки.

— Как вы смотрите на международную обстановку? — спросила Тора с иронией. Ирония была запрограммирована, как все в нашей передаче.

Но Дрю Пирсон, ничего не заметив, важно прошамкал, что хотя положение и остается напряженным, однако обе стороны достаточно разумны, чтобы прийти к соглашению.

— Исключительно интересно! — не без издевки бросила Тора и повернулась к залу. — Мне кажется, наши дорогие зрители несколько утомлены перечислением столь блистательных имен. Давайте сделаем небольшую паузу. Я спою вам новую песню, написанную специально для Телемортонa, — «Вертолет улетает с заданием, но любовь остается с тобой».

Она повернула браслет, прожектора медленно умирали, а Тора Валеско вспыхнула во всем великолепии своей красоты. Заработал потайной механизм, и, вся ярко-красная от волос до колен, она возносилась над сценой, над замершим от неожиданности залом.

И тут я услышал треск, и, совершенно не понимая, что происходит, увидел, как она пошатнулась. Красный факел описал в воздухе параболу, грохнулся о синтетический пол, но продолжал гореть. А узкий столб, на котором она только что стояла, все еще поднимался к потолку бессмысленным обелиском.

Зрители вскочили со своих мест, участники передачи — тоже. Никто еще не осознал, что в сущности произошло, когда из всех микрофонов одновременно донесся голос Лайонелла:

— Телемортон продолжает свою передачу по 21 каналу.

Я склонился над Торой и только наполовину видел, как железная стена за моей спиной раздвинулась, открыв гигантский, оформленный под телевизор экран. На нем (это мне уже рассказали) зрители увидели пустую галерку телевизионного театра и человека, опрометью ки́нувшегося к дверям. А другой объектив уже показывал брошенную им снайперскую винтовку, и тут включился третий, и сорокафутовое распростертое тело Торы с ясно проступившими сквозь багровую тунику пятнами крови прыгнуло на зрителей, и миллионными уменьшенными копиями пошло по 21 каналу.

7.

— Полиция? Произошло убийство!

Короткая пауза.

— Скорая помощь? Только что стреляли в Тору Валеско! У нескольких зрителей нашего театра нервные припадки! Еще один! Нет, кажется, это обморок!

Я словно раздвоен. Рядом со мной Лайонелл с телефонной трубкой в руке, и он же — на экране контрольного телевизора, наполовину заслоняя меня, стоящего на коленях возле Торы. И уже в другом ракурсе: одна только Тора, и сразу — зрительный зал, и люди в белых комбинезонах с надписью «Телемортон. Санитарная служба». По экрану проплывают носилки, а на них держащаяся в истерике пожилая женщина с широко открытым ртом, из которого рвется крик. А на контрольном экране уже виден выбегающий из подземного тоннеля телевизионной башни человек — убийца Торы.

Это было неестественно, выше человеческого понимания. По зрительному залу пронесся шипящий выдох, единодушное «Ах!», похожее на свист выходящего под огромным давлением пара. С этой секунды экран перестал быть простым оптическим устройством. Он превратился в магнитное поле невероятного притяжения, в сатану, целиком завладевшего душами миллионов.

Я не был исключением. Уподобившись чародею, который, понадеявшись на силу магической формулы, вызвал духа и оказался всецело в его власти, я перестал ощущать реальность. Мертвая, а может быть, еще живая Тора, сцена с сотней вращающихся кресел, на которых сотня знаменитостей сидела, повернувшись лицом не к публике, а к экрану, — все это стало зыбким, неправдоподобным, иллюзорным. Единственной реальностью во всем огромном мире был экран: бегущий по улице убийца, вскакивающие на ходу в машину полицейские, резкие sireны карет скорой помощи.

Я сам, винтик за винтиком, монтировал убийственный аппарат Телемортонa, но никогда не представлял себе, что это может действовать как сильнейший наркотик. Впоследствии меня ничуть не удивило, когда я узнал, что миллионы людей, успевших приобрести наши телевизоры, не сомкнули в эту ночь глаз.

Убийца еще бежал по улице, а сцену театра уже наводнили полицейские, врачи, санитары.

Кто-то оттащил меня от Торы, я услышал голос инспектора полиции:

— Подождите! — Это относилось к врачам. — Сначала я должен осмотреть пострадавшую.

Он наклонился над Торой, вернее хотел наклониться, но экран успел схватить и его в свои магнитные лапы.

— Вот он! Убийца! Держите его! — закричали на сцене. Кто-то даже протянул руки, словно намереваясь остановить бегущего к машине человека. Убийца опасливо оглянулся. Мы впервые по-настоящему увидели его лицо. Немного растерянное, обычное. Если бы мы не видели это лицо мельком на галерке театра, в нескольких шагах от брошенной снайперской винтовки, мы бы никогда не поверили, что это он.

Но сейчас весь зрительный зал взревел в яростной жажде крови:

— Он убежит! Полиция! Куда смотрит полиция?

Полиция уже смотрела куда следует — на экран. И не только полиция. Врачи, позабыв, что рядом умирает человек, глядели на убийцу, который быстро прыгнул в машину, завел мотор и, выжимая скорость, удалился из кадра.

И тут пилот вертолета доказал, что недаром Мефистофель так заботился о бесплатных местах на прекрасных кладбищах Объединенного Пантеона. Чудилось, удаляющаяся машина валится набок — с такой молниеносностью к ней приблизился объектив. И крупным планом, во весь экран, мы увидели автомобильный номер.

Вместо машины возникла голова в пилотском шлеме. Ее сопровождал голос:

— Вы только что видели Боба Таунберри, пилотирующего вертолет «Телемортон. Соединенные Штаты, 978». Передачу веду я, Алвин Картер! Мы следуем за ним!

Переключение. В кадре уже стоящий на сцене телефон и инспектор полиции, дающий указания задержать машину.

Потом... Кажется, я на несколько минут потерял сознание.

— Ну, как? Тебе лучше, Трид? — услышал я голос Лайонелла.

Я открыл глаза. На уровне моей головы чья-то рука в белом убирала блестящий шприц. Движение руки было бессознательным — врач, только что сделавший мне укол, глядел не на шприц, не на меня, а на единственную реальность этого нереального мира.

— Где Тора? — спросил я хрипло.

— Выпей. — Лайонелл протянул мне полный стакан бренди. — Тора? Вот она.

Удивляясь, почему он показывает не вниз, на пол, а куда-то вверх, я приподнялся и увидел ее. В карете скорой помощи. Закрытые глаза, кровавый шрам на лбу, тело скрыто белой простыней. Из-под простыни бес- сильно свисает рука, врач скорой помощи щупает пульс, рядом чья-то спина в белом комбинезоне с надписью: «Телемортон. Санитарная служба». Вой сирены. В промежутках голос:

— Тора Валеско по-прежнему находится в бессознательном состоянии. Мы везем ее в госпиталь Святого Патрика!

Все приготовлено к операции! Оперировать будет срочно поднятый с постели профессор Маркин!

Другая сирена. На этот раз полицейская. Она врежется в гущу движения, словно ножницами пропарывает сверкающий поток автомобилей, голос полицейского радиооператора:

— Сектор 86! Он только что свернул на 106 улицу! Всем направиться на 106 улицу! Перекройте движение!

Переключение. Улица с птичьего полета. Во всю длину. Впереди похожая на игрушечную машина. Из боковых улиц вылетают другие. Скачок. На экране крупным планом автомобиль убийцы. Из-за опущенного ветрового стекла выглядит искаженное страхом лицо. Он заметил погоню.

Карета скорой помощи подкатывает к подъезду госпиталя. Стоящие наготове санитары распахивают дверцу. Мельком виден лежащий на спине телеоператор. Перешагивая через него, санитары вносят носилки с неподвижным телом.

На экране дымок. Что это такое? Взрыв? Нет, мы видим дрожащие пальцы и между ними странную сигарету — красную с длинным черным мундштуком. Это курит один из зрителей телевизионного театра. Голос ведущего:

— Сигарета Телемортон — лучшее средство против сна! Оставляйтесь у телевизоров! Мы покажем вам поминку убийцы Торы Валеско и его первый допрос!

Переключение. Рука с пистолетом. Выстрел. Еще один. Пули свистят вокруг мчащегося на полной скорости автомобиля. С птичьего полета — вся сцена погони. В погоню включились уже три полицейские машины. Дымки выстрелов. И снова крупным планом — нажимающий на спусковой крючок палец, яростное лицо стреляющего полицейского. Выстрел. Еще и еще. Душераздирающий аккомпанемент полицейских сирен. Прижавшиеся к стенам прохожие, раскрытые окна — на первом этаже, на десятом, на сороковом, в окнах лихорадочно блестящие глаза... Наплыв на одно окно. Ребенок, привстав на цыпочки, глядит на улицу, а в глубине темной комнаты вся остальная семья, прикованная к экрану телевизора. И на крошечном экране — погоня, вспышки выстрелов, бешено мчащиеся машины.

Переключение. Сцена театра. Голливудская знамени-

тость, с устремленными на экран глазами маньяка. Нервные пальцы вслепую разрывают коробку, вытаскивают черно-красную сигарету.

Убийца на полном ходу сворачивает в темный двор, выпрыгивает из машины, машина с оглушительным лязгом врзается в стену дома. Звон стекла, крик из дома. Убийца карабкается по кирпичной стене, прыгает в соседний двор, падает, вскакивает, бежит дальше.

Тора лежит на операционном столе. Лицо скрыто анестезионным аппаратом. Люди в белых масках, волосатые руки в прозрачных перчатках. Какие-то хирургические инструменты.

В ворота въезжают одна за другой полицейские машины. Из них выскакивают вооруженные люди.

Операционная. Молочно-белая, так хорошо знакомая мне кожа. Рука цветным карандашом проводит по ней закругленную линию. Другая, со скальпелем, следуя за извилинами этой линии, рассекает кожу. Кровь... Тампоны. Слабо трепещущий кусок сырого мяса.

— Неужели это сердце? — думаю я. — Сердце Торы?

Переключение. На экране мое лицо. Я вглядываюсь в себя, как в чужого. Почему я не рядом с Торой? Почему я здесь? Почему только одна моя половина страдает, а другая думает об иных предметах? Например, о съемке в инфракрасном освещении. Инфрасъемка, как ее фамиллярно называют специалисты Телемортон. Черный смог форсировал ее развитие, это благодаря ей оказался возможен скандальный снимок в вечерней газете. Мы с Торой были уверены, что смог защищает нас от любопытных взглядов — ведь любящие думают о любви, а не о прогрессе техники. И эти же инфракрасные лучи преследуют сейчас убийцу по темным закоулкам. Его видят миллионы зрителей, одни лишь полицейские в полной растерянности садятся обратно в машины.

— Как жаль, что полицейские участки не оборудованы нашими телевизорами! — раздается иронический голос ведущего. — Им не пришлось бы действовать вслепую. Ну, что ж, Телемортон готов помочь... Алвин, как у вас там? Не потеряли из виду?

Кабина вертолета. Крупным планом телеоператор. Куртка распахнута, по напряженному лицу, побагровевшейшее стекают крупные капли, сорочка потемнела от пота.

— Вот он! — Телеоператор показывает куда-то большим пальцем.

Мы видим маленькую фигурку, быстро, почти бегом, шагающую по безлюдной, полутемной улочке. Здесь меньше прохожих, почти нет транспорта. Убийца то и дело тревожно оглядывается. Но смотрит он лишь назад, а не наверх — все ньюйоркское небо утыкано частными вертолетами, и они привлекают внимание только в тех случаях, когда падают кому-нибудь на голову.

— Держитесь той же высоты, Алвин! — предупреждает ведущий. — А то еще спугнете! Какая это улица? Я сейчас свяжусь с полицией.

— Это возле Гансвуртского рынка! — кричит кто-то из зрительного зала.

— 114 западная! — уточняет другой.

— Спасибо, Алвин, я уже в курсе.

Весь этот разговор ложится на кадры мрачной улицы, по которой спешит убийца.

Переключение. Ведущий набирает телефонный номер.

— Полиция! — кричит он. — Полиция! — он чертыхается. — Что-то с телефоном! — он хватается другую трубку. — Почему нет связи с полицией?.. Что? Вся наша телефонная система не действует, еще один сюрприз. Сейчас единственная надежда на наш вертолет.

Я всматриваюсь в возбужденные лица зрителей. Не может быть, чтобы они не разгадали дешевого трюка. Будь даже все телефонные провода оборваны, круглому идиоту и то должно быть ясно, что связь с полицейскими можно установить при помощи парящих над ними вертолетов. Но ни один человек в зале и не заикается об этом. Ни один из сидящих у домашнего телевизора не поддается первому порыву — позвонить в полицию самому. Они чувствуют себя монопольными владельцами небывалого события, они желали бы продлить его до бесконечности, пуще смерти они боятся той минуты, когда убийца будет пойман.

Словно почувствовав это, он замедляет шаг, останавливается, вытирает носовым платком лицо и липкие от страха руки. Потом идет дальше обыкновенной, чуть убыстренной походкой спешащего домой человека.

Короткие, наплывающие друг на друга кадры: полицейские патрули рыщут по городу, операционная госпиталя Святого Патрика, один из посетителей театра

глубоко затягивается сигаретой «Телемортон», совещание у начальника полиции. Снова операционная. Еще один курильщик.

А в зрительном зале выбиваются из сил перебегающие от одного к другому санитары. Это уже не вызванные чудовищным напряжением обморок или истерия. Это слабость от истощения, от непрерывного впитывания невероятного концентрата всего, что когда-либо фабриковалось жизнью или кинематографом.

— Я понимаю, что ваши силы на исходе, — улыбается на экране ведущий. — Вполне возможно, что посетителям нашего театра придется провести здесь всю ночь. Телемортон позаботится об удобствах.

Я вижу на экране его палец — огромный палец, нажимающий на кнопку. Одновременно слышу за спиной какой-то космический звук. Оборачиваюсь. Пять тысяч кресел плавно принимают почти горизонтальное положение. То-то меня удивила их странная форма. И, совсем как в самолете, из спинок выдвигаются раструбы озонаторов. Под их тихое жужжание телемортонские девушки в мини-юбках раздают посетителям целлофановые пакеты с бутербродами и самонагревающиеся пластмасовые бутылочки с черным кофе.

Все это показывается на экране под комментарий ведущего:

— Угощение бесплатное! И так будет каждый день! Входные билеты, дающие право провести в телевизионном театре двадцать четыре часа, — премия нашим болельщикам! К каждой десяти тысячной пачке сигарет «Телемортон» приложен один билет!.. Между прочим, могу вам сообщить: к нам все время поступают предложения от ведущих фирм предоставить им хотя бы полминуты для рекламных объявлений. Нам предлагают фантастические суммы. Но интересы зрителей для нас важнее, чем коммерция.

На экране крупным планом винтовка со снайперским прицелом. Эксперт по оружию, демонстрируя магазин с патронами, объясняет шефу полиции, что сделано три выстрела.

Убийца идет уже по другой улице, подходит к автобусной стоянке, но при виде обгоняющей автобус полицейской машины скрывается в переулке.

Хрустит целлофан, один из зрителей вонзает в аппе-

титный бутерброд крупные белые зубы. Еще слышно чавканье, а на экране уже появился огромный шар. Первое впечатление — заснятая спутником Земля. Но почему океаны красного цвета?.. Почему материки так сверкают?.. Шар быстро уменьшается в размерах, превращается в пулю, с которой стекает кровь... Мы в операционном зале. Окровавленная плоть, в которой копошится скальпель.

— Первая пуля благополучно извлечена, — докладывает чей-то голос. — Профессор Маркин уже нащупал вторую.

А убийца, видимо, решив, что пользоваться автобусом небезопасно, спускается в подземный переход. Вынырнув из него он убыстряет шаг, не оглядываясь, проходит несколько кварталов, сворачивает за угол. Судя по уверенной походке, преступник должно быть принял какое-то решение, направляется куда-то с определенной целью.

Ажиотаж в зрительном зале нарастает. Все больше посетителей прибегают к волшебному воздействию телемортоновских сигарет, над залом плывет облако, рассасываемое бесшумным кондиционером.

Куда направился преступник? Может быть, в ближайший полицейский участок, чтобы добровольно сдаться в руки правосудия? При одной мысли об этом они готовы его линчевать. Он принадлежит им, только им!

Режиссер передачи мгновенно уловил состояние зрителей. Все короче становятся вставки из операционного зала, показывающие извлечение пули, перебои в сердечной деятельности, подключение искусственного сердца, все меньше внимания уделяется бестолковым поискам полиции. Объектив неотступно следует за убийцей. Вот он, пройдя дворами, вышел на улицу с приземистыми и шестизэтажными жилыми казармами. Темные окна, вдали слышны пароходные гудки. По его движениям чувствуется — местность ему хорошо знакома. Вот он остановился перед одним из домов, в последний раз оглянулся, исчез в дверях.

Неужели мы больше не увидим его? Прекратилось шуршание целлофана, разговоры, даже покашливание курильщиков. Телевизионный театр замер, прислушиваясь к тихому жужжанию невидимого лифта, на котором поднимается убийца.

В одном из окон шестого этажа зажигается свет. К окну подходит человек. Это он! В зрительном зале шумный вздох облегчения. Убийца перегибается через подоконник, оглядывает темную улицу. Вдалеке слышен рев полицейской сирены. Убийца отскакивает от окна, подбегает к выключателю, свет гаснет. Он сделал то, что инстинктивно делает каждый затравленный человек — ищет спасения в темноте.

Но для инфрасъемки не существует преград. И секунду за секундой, минуту за минутой мы продолжаем следить за каждым его движением. Видим, как он мечется по комнате, обессиленный, падает на диван, снова вскакивает, трясущимися пальцами ищет в кармане сигареты, не может их нащупать, выворачивает карман. Вот они наконец! Знакомая коробка — башня телецентра в миниатюре. Ничего сверхъестественного, если учесть, что ему, как и всем посетителям, раздали телемортонские сигареты. И все же зрителей охватывает мистическое чувство — человек, совершивший убийство во время передачи Телемортон, курит сигареты Телемортон, и Телемортон показывает его миллионам.

Тягучие минуты, словно отмеренные разбросанными по полу окурками. Но для зрителей, превратившихся в нервный придаток экрана, время бежит с космической скоростью. Некоторые зрители, вероятно, видели убийство Ли Освальда, некоторые — убийство Роберта Кеннеди, за эти десять лет, пока я был отлучен от цивилизации, телевидение, должно быть, не раз задабривало аудиторию подобными сценами, но никогда, никогда не представлялась уникальная возможность — почувствовать состояние убийцы вскоре после совершенного преступления, при помощи сверхчувствительного ока заглянуть в его словно лишенный черепной коробки мозг.

Переключение. Ступеньки, по которым на бесшумных подошвах поднимается телеоператор. Грязная лестничная площадка со множеством дверей. Тусклая лампочка под потолком, проволочные корзины с мусором. Телеоператор показывает кому-то на одну из дверей. Крупным планом цифра: 76, под ней написанная от руки визитная карточка: Джордж К. Васермут.

И тут же — озабоченное лицо шефа полиции, он совещается со своими подчиненными. Номерной знак машины, на которой сбежал убийца, оказался фальшивым,

владельца не удалось установить. На заднем фоне — электрический план Нью-Йорка с перемещающимися в разных направлениях светлячками. Это патрульные машины. В репродукторе слышны их переговоры.

— Сектор 205! Ничего не обнаружили, просим разрешения прекратить поиски.

— Сектор 83! Какого черта мы зря расходует бензин?

Ничего комического нет в этих кадрах, но в зрительном зале слышен смех. Смех богов, вззирающих с высот своего превосходства на жалкие потуги муравьев. Такого еще не видел свет — полиция в полном неведении, а им, зрителям, получившим из Телемортонa волшебный дар всевидения, известно, где живет убийца и даже как его зовут.

Переключение. Какой-то непонятный для меня медицинский аппарат с экранчиком, по которому конвульсивно перебегают светящиеся зигзаги. Последняя судорожная вспышка, экранчик гаснет. Мы в госпитале Святого Патрика. Медсестра срывает с профессора Маркина марлевую маску, другая сдергивает перчатки. Профессор пристально смотрит на операционный стол, кивает головой, ассистент закрывает простыней кусок молочной кожи с рубчиками хирургических швов, санитары перекладывают неподвижное тело на каталку.

— Сигарету! — хрипло говорит профессор, вытирая тыльной стороной ладони обмякшее лицо. К нему подсакивает телеоператор с пачкой телемортонoвских сигарет.

Каталка с закутанным в простыню телом останавливается перед дверью с надписью «Морг».

Голос: — Тора Валеско скончалась! Передачу из госпиталя Святого Патрика вел телеоператор 972 Уилтон Крэсси, мне ассистировали...

Я, должно быть, на секунду потерял сознание. В самом начале я еще создавал, что хирурги борются за жизнь не кого-нибудь, а Торы. Торы, которую я еще шесть часов назад держал в своих объятиях. Торы, носившей на пальце подаренное мною обручальное кольцо. Вечером я был еще уверен, что люблю ее. Возможно, то действительно была любовь, но Телемортон оказался сильнее. Телемортон, подобно вакуумному аппарату, высасывал из души человеческой все без остатка чувства, оставляя девственную пустоту, в которую неслыханным

водопадом устремлялась лишь одна эмоция — эмоция зрителя. Все, что происходило в операционном зале, для меня, как и для всех, было лишь частью сверхнатуралистического представления с тремя зрелищными компонентами: убийца, жертва, полиция. И только, когда телеоператор, заканчивая передачу из госпиталя, назвал ее имя, я осознал, что теряю близкого человека.

Но наркотик уже глубоко сидел во мне, проник в кровь, перемешиваясь с гемоглобином, подхлестывал, придавал нечеловеческую выдержку. Через секунду я вырвался из забытья — не затем, чтобы плакать и рвать на себе волосы, а чтобы продолжать свое насыщенное до предела существование в единственном существующем из миров — в экранном!

Я открыл глаза. Мир до неузнаваемости изменился. Дерущиеся подростки, кулаки, сверкающие в полутьме, занесенные ножи, крики ярости, одобряющие возгласы азартно наблюдавших за боем девчонок. Рассеченная лезвием щека, хлещущая из раны кровь, двое остервенело топчут упавшего противника.

— Колоссально! — сказали бы зрители в другое время. Но сейчас кровавая уличная драка казалась лишь небольшой освежающей интермедией. Режиссер передачи и на этот раз проявил блистательную способность проникнуться психологией зрителя. Еле я понял — это то самое столкновение двух конкурирующих молодежных банд, которое я, еще не подозревая о грядущей сенсации, собирался включить в программу между шамканьем Дрю Пирсона и песней Торы Валеско, — как ведущий уже заявил:

— Вы видите записанное на видеопленку уличное происшествие, о котором нам сообщил господин Эрвин Ютмеккер. Премия в тысячу долларов будет ему вручена завтра. Мы не считали нужным прерывать передачу, так как подобные происшествия вы сможете увидеть в каждой программе Телемортонa. Как видите, наш вертолет прибыл на поле боя раньше полиции!

Несколько кадров, показывающих прибытие полицейских, обрушившиеся на головы дерущихся дубинки, убегающих подростков, наручники на запястьях арестованных, и уже снова голос ведущего:

— Если вы заметите что-нибудь, достойное внимания Телемортонa, сообщите сначала нам и только после этого

в полицию. За каждую минуту телевизионной передачи вы получите 1000 долларов! Не забудьте — сперва Телемортон, а уже потом полиция! А теперь могу вам сообщить, что телефонная связь восстановлена. Полиция предупреждена. Сейчас мы вам покажем арест Джорджа Васермута, убийцы нашей звезды Торы Валеско!

Полицейские машины останавливаются на знакомой нам улице. Детективы окружают здание, занимают пост во дворе. Четверо во главе с инспектором с револьверами наготове поднимаются наверх.

Переключение. Мы в комнате Васермута. Резкий звонок. Васермут подбегает к окну, отскакивает, ищет, куда спрятаться. Снова подбегает к окну, заносит ногу через подоконник. Неужели он решится прыгнуть? Нет. Крупным планом его лицо. Отчаяние, безысходность. Дверь с треском распахивается. Детективы бросаются к окну. Васермут соскакивает с подоконника и, теряя сознание, падает на пол.

Потом... Что было потом, я уже не помню. Запас эмоциональных сил был истощен до предела. Я даже с облегчением вздохнул, когда полицейский врач объявил, что ввиду состояния арестованного допрос придется отложить до утра. Нам показали его в последний раз — через волчок тюремной камеры, лежащего на тюремной койке.

Экран погас. Быстро задвинувшийся занавес отделил зал от сцены. Медлительность, с которой он приоткрылся часов семь назад, была тщательно рассчитанным обманным эффектом.

Оглушенный, приведенный врачом (черт знает, какую дрянь он мне впрыснул!) в сомнабулическое состояние, я даже не заметил, как вертящаяся сцена вынесла меня вместе со всеми участниками программы в другое помещение. Оно было приспособлено для длительного бодрствования. Повсюду движущиеся на колесиках столики, уставленные подносами с бутербродами, самонагревающимися кофейными бутылками и флягами с бренди.

Контрольный экран показывал зрительный зал. Некоторые, потягиваясь, поднялись с мест, большинство оставалось в полулежачем положении. Бледные, с трясущимися руками, они принялись обсуждать невероятное происшествие, свидетелями которого оказались.

Неожиданно занавес опять раздвинулся. Сцена

представляла собой жилую комнату. Кровати, стол с остатками еды, несколько стульев, тумбочка с телефоном, радиоприемником и обычным телевизором. А на заднем плане — все тот же огромный телемортонский экран. В комнате находилось двое до невероятности смешных человечков. Низенький пожилой мужчина с брюшком и лысой, совершенно круглой головой, так и излучающей уютное веселье, и гренадерского роста ворчливая старуха в старомодном чепчике на украшенных бумажными папилотками волосах.

Зрители недоуменно переглянулись. После только что пережитой драмы с трупом, погоней, настигнутым убийцей это зрелище казалось словно невзначай перешагнувшим в театр из другого измерения.

— Телемортон продолжает свою круглосуточную программу по 21 каналу! — раздалось в громкоговорителях.

— Ничего хорошего они все равно больше не покажут, — обратился низенький к старухе. — Спать пора, как ты думаешь, мама?

Старуха что-то проворчала и принялась взбивать подушки.

— А может быть, сначала послушаем, что произошло за это время в мире? — спросил он, включая приемник.

На контрольном экране появились заставки: «Господин Чири», «Госпожа Чири».

— Какая-то чепуха! — провозгласила одна из голливудских знаменитостей. — По-моему, это безвкусица — давать после трагедии комедийную сцену. Пойду, пожалуй, — знаменитость приподнялась, но лишь для того, чтобы придвинуть к себе столик с закусками.

— Не знаю. Возможно, Телемортон просто хочет дать нам передышку, — предположил известный бродвейский комик.

— Я во всяком случае остаюсь! — объявила другая знаменитость. — Через несколько часов допросят Васермута, а у меня нет телевизора.

— Телемортонского?

— Никакого. Я заядлый враг телевидения. Во всяком случае, был до сих пор.

— Я бы тоже с удовольствием остался, — Дрю Пирсон жадно допил свой кофе. — Но годы уже не те. Пойду спать, — он пытался подняться, его шатало, ухватившись за спинку вращающегося кресла, он беспо-

мощно оглянулся. Подскочили двое телемортонских санитаров и вывели его.

Я чувствовал себя прикованным к сидению. Безумно хотелось спать, и в то же время я знал, что заснуть не смогу. Как бы сквозь сон я прислушивался к новостям, которые хорошо поставленным голосом сообщал радиодиктор, и даже понимал их смысл. Обычный букет: напряжение не то на Ближнем, не то на Дальнем Востоке, забастовки, визит премьер-министра, совещание «Большой шестерки», Китай кому-то угрожает. Ничего сенсационного, кроме катастрофы в Английском канале.

— Скука! — Чири на контрольном экране с зевком выключил радиоприемник. — Придется спать ложиться, а, мама? Вот, если можно было бы силою мысли перенестись к берегам Англии. Ты слышала, мама, — много человеческих жертв!

— А что там, собственно говоря, произошло? — ворчливо отозвалась госпожа Чири.

— Паром, перевозящий железнодорожный состав со всеми пассажирами из Дувра в Булонь, столкнулся с супертанкером «Атлантик», водоизмещение двести тысяч тонн. Но нам этого не видать, как своих ушей, разве если покажут через неделю в кинохронике. — Он еще раз зевнул и принялся стягивать с себя упорно сопротивляющийся галстук.

Вдруг сцена погрузилась во тьму. Вспыхнул большой экран. Волны, волны. Бесконечное водное пространство, серое в предрассветной дымке. И резкий голос:

— Веду передачу с вертолета Телемортон, Англия, 637. — Видна кабина вертолета. — Представляю вам команду. Пилот Гарри Стэтсон! — В кадре лицо пилота. — Радиооператор Огюст Крамер. — В кадре радист у своих приборов. — А это я, Фрэд Неверкасл, телеоператор! — Видно лицо мужчины, прикившего глазами к иллюминатору вертолета.

Тишина. И море без конца и края. Но вот уже вдали маячат какие-то темные точки.

— Гарри, ты видишь их? — кричит телеоператор. Пилот поднимает к глазам бинокль: — Вижу!

— Это спасательные суда, вышедшие из Дувра и Фолькстона. Они идут на полной скорости, но мы прибудем к месту катастрофы на шесть минут раньше... А вот, кажется, наши коллеги! Как видимость, Франсуа?

— Хорошая! — раздается из динамика другой, хрипловатый, голос. — Мы уже почти над местом катастрофы... Да, забыл представиться. Франсуа Деклав, оператор вертолета «Телемортон. Франция, 855». За нами идут спасательные суда из Булони и других нормандских портов. Но мы опередим их на целых семь минут...

На экране — опять море, потом зрительный зал. Люди сидят, вцепившись руками в спинки кресел. На лицах какое-то странное выражение. Напряжение? Удивление? Нечто большее. Смятение перед чудом. Я сам тоже ничего не понимаю. Радио сообщило: только что произошло столкновение, а его уже показывают. Я вспоминаю разницу во времени, вспоминаю сверхскоростные почтовые самолеты, о которых рассказывал Мефистофель, и успокаиваюсь.

Опять вода без конца. Но вот она сменилась густой, бурой, липкой массой. Так же, как и море до этого, она не имеет ни конца, ни края. Страшное бурое море с сумасшедшей скоростью скользит по экрану, и вот видны истоки. Серая стена. Накрененная наподобие мотоциклетного трека стена с огромной пробоиной, из которой чудовищным фонтаном бьет нефть. И весь танкер сверху — металлическая улица с трубами и надстройками, почти перевернутая, на отвесной плоскости сотня крошечных людишек, иступленно цепляющихся за что попало. Один из них крупным планом. Чьи-то ноги скользят по палубе, ударяются о сомкнувшиеся вокруг вентилятора пальцы, руки отрываются от вентилятора, отчаянный крик, человек со все возрастающей скоростью летит вниз, кувырком падает в воду. Но эта не вода, это густая нефть. Он пытается плыть, но нефть облепила его целиком, нефть забивает рот и ноздри. Он задыхается, последняя предсмертная судорога, голова исчезает под нефтяной толщей, еще раз всплывает, на этот раз не вся. Видны волосы, глаза и уши, потом над ними смыкается маслянистая, спокойная, устойчивая жижа.

На контрольном экране зрительный зал. Кто-то бесильно сползает с кресла, стучается о мягкий синтетический пол. К нему бегут санитары.

Сцена. Господин Чири, только что зачарованно глядевший на экран, подбегает к телефону.

— Еще один зритель упал в обморок! Вышлите «скорую помощь»!

Его накрывает голос ведущего:

— Телемортон показывает грандиозную катастрофу в Английском канале. Не будьте эгоистами! Разбудите своих соседей!

На экране что-то непонятное. Ага, это часть тонущего парома, на нем еще несколько вагонов, намертво сцепленных с теми, что исчезают в пучине. На пароме вприкрыты пригнанные друг к другу, как сельди в бочке, уцелевшие пассажиры. Кто-то с трудом высвобождает руку, машет. Кому? Телемортоновскому вертолету, висящему над ним. Но он здесь не для того, чтобы кого-нибудь спасти. Он для того, чтобы снимать, для того, чтобы сидящие рядом со мной знаменитости, позабыв про бренди и закуску, впивались глазами в экран, для того, чтобы посетители театра падали в обморок, для того, чтобы по всей стране полупомешанные от передач и бессонницы люди стучали кулаками в двери соседей: «Скорее! Проснитесь! Телемортон опять передает!»

Паром все больше погружается в воду. Люди топчут друг друга, карабкаются на крыши вагонов. Кому-то это удастся, остальные уже по плечи в нефти. Тонут. Пытаются плыть, не могут. Задыхаются. Десять предсмертных агоний, двадцать, тридцать. Со всеми подробностями, со всеми душераздирающими криками, с предельной обнаженностью человеческого страдания.

Вот уже подходят спасательные суда. Люди на крыше последнего незатонувшего вагона кричат, плачут от радости. Но их заглушают крики ужаса, на этот раз с танкера. Огромное судно, уже почти коснувшись верхушками мачт поверхности воды, судорожно вздрагивает, словно комок нервов, потом становится на дыбы. Полсотня фигурок в забавных позах падает в море. Один из них в момент падения — крупным планом. Искаженное страхом лицо, руки с крючками-пальцами, нелепо пытающимися ухватиться за воздух.

Еще полчаса, безотказно заполненных отчаянием и смертью, тридцать минут полнейшего соучастия в трагедии, которая происходила по ту сторону Атлантического океана. Никогда, нигде телезрители не получали за одну ночь столько уникальных переживаний.

Я не помню, как и когда это закончилось. Неожиданно для себя я заметил, что море исчезло. Вместо Английского канала я увидел сцену и толстяка Чири. С галстуком в одной руке и ночной пижамой в другой, он потянулся к выключателю.

— Спокойной ночи, мама!

— Спокойной ночи! — отозвалась госпожа Чири.

— Сейчас мы вам покажем фильм Телемортон «Карета подана», серия первая, — объявил ведущий. — Кто желает, может прилечь. Но не забудьте, через полтора часа в полицейском участке начнется допрос убийцы нашей звезды Торы Валеско.

Фильм был подобран изумительный. В меру старомодный, в меру смешной фарс, действие которого происходит в XIX веке на фоне живописного старого Бостона. Он успокаивал, убаюкивал, действовал, как подслащенная валерьянка. Но остроумные ситуации, динамичность действия, великолепная игра актеров помогали без особого труда дотянуть до того волнующего момента, когда Вассермута выведут из камеры и Америка, наконец, узнает, почему он стрелял в Тору.

Я заснул посреди фильма. Проснулся в своей комнате. Я лежал под одеялом, кто-то возился за стеной, и я спрונсья крикнул:

— Тора! Иди-ка сюда! Я тебе сейчас расскажу свой сон! Такого кошмара ни один фрейдист не придумает!

Но вместо Торы в дверях появился Мефистофель, и тогда я все вспомнил.

— Ужасно, — сказал он. Ужасно, — он покачал головой. — Телемортон одним ударом сокрушил всех конкурентов, но какой ценой! Знай я заранее, ни за что не разрешил бы ей вчера выступать. Но кто мог предположить, что он ее муж?

— Муж? — ничего не понял я, вспоминая мертвую Тору. Я опять видел белую лакированную поверхность операционного стола, и на ней красные водоросли и узкую полоску лба над металлическим ободком анестезионного аппарата. У меня почему-то было ощущение, будто я сидел рядом и держал в руке ее окоченевшие пальцы. Но это был всего лишь эффект присутствия, в котором проявилось жуткое волшебство Телемортон.

— Ну да. Они только совсем недавно развелись. Он ее страшно ревновал. Именно поэтому Тора ушла. И когда

он увидел в вечерней газете снимок, на котором вы оба... — он деликатно не закончил фразу.

— А как ему удалось протащить в театр винтовку? Как он вообще попал туда?

— Для меня это тоже загадка. Васермут категорически отказался отвечать на эти вопросы. Будет проведено строжайшее следствие. Начальник Федерального Бюро обещал мне сделать все возможное... А успех превзошел самые оптимистические ожидания! В магазинах — огромная очередь за нашими телевизорами и новыми миниавтомобилями Крайслера «21». Машина никудышная, но имеет огромное преимущество — телеэкран, по которому можно смотреть исключительно нашу программу. Могу себе представить, как подскочит число дорожных аварий! Табачные фирмы в панике, все переходят на сигареты «Телемортон», даже я!.. Что с тобой, Трид?

Сквозь туман я заметил подбегающего к кровати Мефистофеля, потом меня поглотила темнота.

8.

Когда я пришел в сознание, мне показалось, что все еще нахожусь в доме своего отца и надо мной склонился доктор Пайк. Но это был темнокожий туземец в песочной форме индийской ПВО.

Доктор Пайк был единственным человеком, с которым я общался в больнице. Ни с Мефистофелем, ни с Лайонеллом мне после смерти Торы не хотелось встречаться. Доктор оказался не только искусным врачом. Едва ли другой сумел бы так точно диагностировать мое сложное заболевание, физическое и психическое одновременно. Беседы, которые мы вели в течение многих месяцев, помогли мне познать происшедшее за годы своего отшельничества. Телемортон лишь предвосхитил тенденцию завтрашнего дня. С цивилизацией было покончено, по крайней мере у нас. Из формы человеческого общения она превратилась в пустую традицию, нечто вроде деревянного молотка, при помощи которого Мефистофель открывал свои акульи побоища.

Когда я выздоровел (сомневаюсь, было ли это так, но

доктор Пайк утверждал, что дальнейшее пребывание в больнице принесет мне только вред), меня потянуло в Индию. Индийско-пакистанская война стала с первого дня гвоздем телемортоновской программы. Мефистофель охотно согласился, впервые проглядев мои истинные побуждения, — возросшее до психоза отвращение к жизни гнало меня навстречу опасности.

Я очнулся в бомбоубежище. Работник ПВО объяснил, что меня контузило воздушной волной. Вызвали машину (благодаря нашим передачам меня знал в лицо почти каждый житель Дели), и через полчаса я уже сидел в своем комфортабельном номере. «Великий Могол», принадлежавший одной из наших многочисленных подставных фирм, в этом смысле ничем не отличался от американских или европейских гостиниц. Окон в комнате не было, несмотря на это, редко кто догадался бы, что она находится глубоко под землей. Мягкий искусственный свет падал на ковры, картины, дорогую мебель — обычную обстановку, соответствующую мировому стандарту отеля высшего класса. Наш подземный штаб строился по заказу Телемортонa, но администрация, получавшая арендную плату, считала его частью гостиницы и соответственно мебелировала. Так получилось, что вернувшийся с фронта пилот валился в грязном комбинезоне на застланную тончайшим кашмирским шелком кровать, а операторы монтировали свои кровавые видеоленты в окружении древних ваз и полотен современных индийских художников.

Исключение делалось лишь для лазарета — стерильно белых помещений, куда я старался заглядывать по возможности реже. Но, идя по длинному коридору, который вел к лифту, я каждый день слышал стоны. Как ни странно, самому, может быть, и хотелось умереть, но запах чужой агонии вызывал тошноту.

Моя комната находилась далеко от лазарета. Мирно шелестели электрические опахала, мерцал только что включенный экран, занимавший всю стену. В дверь постучали.

Заросший бородой Нэвил Ларук походил на сикха. Уроженец Арканзаса, он быстро акклиматизировался и отлично справлялся с общим руководством. Как-то получилось, что меня ни о чем не спрашивали. Служба информации была поставлена отлично. О любой важной

операции, о каждой бомбежке Ларук узнавал заблаговременно, ему оставалось только давать распоряжения экипажам вертолетов и броневиков, общее количество которых превысило несколько сот.

— Ну, что? — спросил я, выжимая лимон в стакан со льдом. Я еще не совсем оправился от контузии. В ушах надрывался грохот бомб, слышались крики раненых, перед глазами расплывались разбрызганная по пыльной мостовой кровь и окрашенные в багровый цвет вяленые ломтики дыни, упавшие с лотка убитого осколком продавца.

— Хейвуд скончался! — доложил Ларук. Хейвуд был ранен в Восточном Пакистане, медицинский персонал имелся у нас только в Дели. Но Телемортон, несмотря на ожесточенный характер этой войны, пользовался абсолютной экстерриториальностью. Переправить Хейвуда через линию фронта оказалось пустяковым делом. Однако хирургическое вмешательство запоздало.

— Умер? — сказал я, бессмысленно глядя на экран. На нем появился веселый, как обычно, толстяк Чири и его, как всегда, ворчливая мамаша. Эта дикий пар не меньше, чем телемортонские сигареты, служила головокружительной популярности наших передач. Зрители, сутки, высиживавшие в телевизионном театре, диву давались, глядя на фантастическую, не нуждающуюся ни в отдыхе, ни в сне пару. Лишь несколько наиболее посвященных лиц знали, что господина Чири (его настоящее имя было Кнут Штефан) каждые двенадцать часов подменял брат-близнец. Что касается его так называемой мамы, то Лайонеллу удалось раскопать в одном из мортонских райских уголков для престарелых двух единоутробных сестер. Никакими соблазнами не удалось бы заманить старых дев не то что на сцену театра ужасов, даже просто в обычный город с шумом выхлопных газов, ревом транзисторов, визгом невоспитанных детей. Но Лайонелл умел найти в любом человеке слабую струнку.

Сестры Диксэй обожали животных. С христианским смирением они взяли на себя роль телемучениц — при условии, что баснословный гонимый пойдут на приют для бездомных кошек.

Передо мной на столе лежал присланный Мефистофелем полугодовой отчет. Прислушиваясь одним ухом к

болтовне Чире, я вспомнил некоторые его места. Бесплатные билеты, приложенные к каждой десяти тысячной пачке наших сигарет, стали предметом безудержной спекуляции. В первую неделю существования Телемортон они продавались по пятьдесят долларов, теперь же одни только перекупщики частенько зарабатывали на них больше. Не было еще случая, чтобы попавшие в зрительный зал счастливчики покинули его раньше положенных им двадцати четырех часов. Иногда их приходилось выводить при помощи полиции.

— Сколько людей мы уже потеряли? — Я скомкал отчет и запустил им в терракотовую древнеиндийскую молельню, служившую корзиной для мусора.

— Если не ошибаюсь, это восьмой, — мысленно подсчитав, ответил Ларук. — Вместе с Хейвудом. Пять операторов, два пилота, один радист... Но зато мы потрясли мир!

Все сотрудники Телемортон делились на абсолютных фанатиков и абсолютных циников. Ларук принадлежал к первым. Хейвуд был полной противоположностью. Незадолго до его вылета в Восточный Пакистан мы встретились в одном притоне. Совершенно пьяный, окруженный бабьем различных оттенков кожи — от чайного до цвета какао, он с трудом узнал меня.

— А что вы хотите? — сказал он, резким движением сбросив на пол сидевшую на его коленях сингалезку. — Неужели приятнее за гроши снимать эпизоды для третьего разрядного фильма, дожидаясь со дня на день увольнения? Здесь могут убить, но до смерти я поживу в свое удовольствие, и, главное, Телемортон — карьера, имя. А когда надоест кровавая каша, я буду в Голливуде не мальчиком на побегушках, а человеком.

Потом Хейвуд, окончательно опьянев, стал перечислять павших товарищей. Количество жертв было не так уж велико, но во имя Телемортон наших люди гибли во всем мире, и это тоже служило рекламой.

— Мы нуждаемся в пополнении. — Ларук нервно вытащил из красно-черной пачки сигарету.

Ну, конечно, из-за такого пустяка, как смерть Хейвуда, он не стал бы меня тревожить. Но забота о пополнении личного состава и техники входила в мои обязанности, ведь формально не он, а я считался руководителем. Заказав разговор с Нью-Йорком, я выпил свой

фруктовый коктейль и, перекаывая языком кислую лединку, тупо глядел, как Ларук курит. Он жадно и глубоко затягивался, клубы дыма двумя струйками вылетали из ноздрей.

— Напрасно! Потом не сумеете отвыкнуть, — сказал я, сам не знаю, с упреком или с сожалением.

Наши двадцатипентовые сигареты содержали марихуану (правда, в меньшем количестве, чем Плейбой-Хуана или Кент-Хуана, стоившие доллар) и еще какой-то особый, оказывающий противодействие сну, наркотик. Недавно Ассоциация американских врачей в платном объявлении рассказала о многочисленных случаях хронической бессонницы, вызванной употреблением сигарет «Телемортон», однако повальное увлечение ими ничуть не уменьшилось. Новые усовершенствованные модели наших телевизоров снабжались вместо двадцати обычных каналов, в которых большинство зрителей больше не нуждалось, вместительными самопрокидывающимися пепельницами. Из того же присланного Мефистофелем отчета явствовало, что в одних только Соединенных Штатах за каждую ночь выкуривается около четырех миллиардов телемортонских сигарет.

— Отвыкнуть? — Ларук неуверенно спрятал уже вытащенную из пачки новую сигарету. — Но при такой работе?.. Пока продолжается война, спать приходится не часто. А это помогает, — немного помявшись, он снова закурил.

— Врите кому угодно, только не мне. А аппараты гипносна? Или вы отдаете свой портье гостиницы? То-то я заметил, что он храпит даже днем.

Действие этих аппаратов, на которые Мортон имел патент, я испытал на себе. Часами я ворочался в кровати, время от времени полуавтоматическим жестом протягивая руку к флакону с таблетками снотворного, а в воспаленном мозгу все продолжался хоровод смертей, увиденных наяву и на экране. Потом Мефистофель прислал первый аппарат — подарок к моему дню рождения. Я включил его, чарующий женский голос не то напевал, не то нашептывал полуслова, полусимволы, через несколько часов я проснулся от очередной бомбежки с волшебным ощущением проведенной в глубоком забытии долгой ночи.

— Типичный Телемортон, — невесело сказал Ларук. — Бессонница для зрителей, крепкий сон — для ответственных работников. Но я такой же человек, как все, мне тоже хочется посмотреть. Вот почему я курю эту дрянь, вот почему не сплю по ночам. Боюсь пропустить какую-нибудь уникальную передачу. На фронте, я там бываю каждый день, вся эта заваруха выглядит не очень привлекательно. Иногда даже скучно становится — настолько бездарно люди убивают друг друга. А от экрана часами не могу оторваться. Пить, и то бросил, чтобы алкоголь не мешал наслаждаться. Признаться вам честно, не будь Телемортон, я бы просто повесился от скуки.

Наконец дали Нью-Йорк. Разговаривая с Лайонеллом, я покосился на экран. Горело какое-то здание, пожарные ловили раскрытым брезентом прыгавших из окон полуодетых людей, в кареты скорой помощи заталкивали носилки с обгоревшими. Четкость и цвет изображения были превосходными — совершенно забывалось, что находишься за тысячи миль. Передача транслировалась недавно запущенным американским телеспутником, каким-то загадочным для других, но отнюдь не для меня образом спутник не оправдал надежд — программы остальных станций принимались с чудовищными помехами. Пожар сменился рекламой бульонных кубиков, прерванной на полуслове, чтобы дать место наводнению в Голландии. Телемортон не признавал стандартного американского метода — объявлять посреди напряженного матча, что чемпионы пользовались укрепляющим витаминизированным мылом «Сила». Но заказчики не жаловались. Прерванную рекламу мы повторяли целиком, причем после сенсационных кадров, благодаря которым она надолго застревала в памяти.

В дверь постучали.

— Это должно быть он! К вам! Из-за смерти Хейвуда совсем забыл... — Ларук направился к выходу.

— Знакомый? Скажите ему, что я погиб при бомбежке! — У меня было такое же желание разговаривать со знакомым, как у вдовы убитого осколком уличного торговца благодарить правительство за предоставленную мужу возможность умереть героем.

— Он ваш товарищ по Гарварду!

— В таком случае пусть войдет! — задорно объявил

я. Я думал, что это Ситвел (его предприятие имело какое-то отношение к американским поставкам Индии) и уже заранее согнул ногу, предвкушая уготованный ему пинок в зад. Ситвел был из породы тех деятелей, которых надо убивать еще в материнском чреве. Но поскольку современная цивилизация не рассчитана на такую гуманную процедуру, вместо них убивают уличных продавцов и прочих случайных прохожих, не получающих от войны никакой выгоды, кроме возможности дезертировать в загробный мир.

Но это был Джек, Джек, десять лет тому назад исчезнувший из Нью-Йорка с немалой суммой, уплаченной авансом за раскрытие потайного механизма мортонских деловых операций. Он был в индийской форме, с майорскими погонами.

— Сделал карьеру? — спросил я сухо.

Джек молчал. Мы оба неловко поглядели на экран, наблюдая за очередным трюком Телемортонна. Господин Чири только что включил стоявший на тумбочке обычный телевизор, чтобы бегло пройтись по каналам остальных вещательных компаний. Его судорожные зевки и брюзгливые требования мамыши поскорее выключить эту дребедень являлись ироническим вступлением к громовому голосу ведущего:

— А сейчас опять показывает Телемортон!

И сразу взрыв, рушится стена, кричат задавленные ею люди. Переключение. Вид Дели с борта бомбящего город пакистанского самолета, снова улица, на которую падают бомбы, — привычный телемортонский концентрат, где действие прерывается лишь лаконичным сообщением о числе убитых и раненых. Однако же ради этого концентрата не только Америка, но и весь западный мир наполовину отказался от любой другой пищи. Одним из самых блестящих наитий Лайонелла была круглосуточность трансляций, основанная на недостаточно учтенном факте, что огромное количество страдающих от бессонницы американцев не знает, чем заполнить ночные часы. Теперь же, под влиянием Телемортонна, пожалуй, одни лишь младенцы спали положенное им время.

— Не скажем, что карьеру, — только теперь Джек ответил на мой вопрос. — Я работаю в контрразведке и как будто приношу некоторую пользу.

— А денежки, которыми Мефистофель, насколько я понимаю, заткнул тебе тогда рот? Прокрутил или лежат на текущем счету в надежном швейцарском банке?

Удивительно, я ничего не имел против него минуту тому назад. Не то, чтобы я простил Джеку его предательство. Прощать-то вообще было нечего. Так поступил бы любой в этом мире, где так называемая мораль вступает в мгновенную химическую реакцию с чековой книжкой, не оставляя при этом никакого осадка. Но слово «контрразведка» являлось для меня олицетворением государства наизнанку, государства, остервенело копающегося в частной жизни своих граждан под предлогом их защиты.

— Смотри! Это ведь ты! — Джек взволнованно показал на экран.

В барабанные перепонки вонзился оглушительный свист, и под этот аккомпанемент я увидел на экране самого себя. Не более часа прошло со времени бомбежки, и, несмотря на контузию, все еще было мучительно живо в памяти, воспаленной непрерывными картинками бессмысленной смерти. Я тотчас вспомнил как бы разрывавший меня пополам разлад между желанием вырваться из отвратительной клетки, в которую меня поймала жизнь, и животным страхом перед неотвратимо приближавшимся свистом. Потом меня, как я понял со слов сержанта ПВО, отбросило взрывной волной.

На экране я увидел нечто совсем иное. Я стою, словно парализованный, какой-то индус изо всей силы толкает меня, взрыв, я пролетаю несколько футов, падаю, другой индус прикрывает меня своим телом, а на месте, где я только что стоял, лежит мой спаситель с развороченным осколком черепом.

— Вы только что видели Тридента Мортон, находящегося в самом пекле войны, чтобы лично руководить съемками, — объявил диктор.

Да, Мефистофель умел сочетать полезное с приятным — нанятые им телохранители ценою собственной жизни превращали мои самоубийственные потуги в эффектную рекламу.

— Ты ждешь от меня исповеди? — Джек только теперь сел. — На деньги я бы не соблазнился, но господин Эрквуд убедил меня, что тебе лучше не знать правды. Даже эта война не потребовала столько жертв,

сколько мирное накопление твоего состояния. Самоубийцы, морально искалеченные, пожизненные пациенты психиатрических лечебниц — население небольшой страны!

Все это я давно подозревал. Но можно сомневаться в существовании бога, и все же момент, когда окончательно разуверившись, видишь вместо всемогущего начала хаотическое множество мелких черт, управляющих миром, всегда является потрясением.

— Лекция о морали? Ты новатор, Джек. Обычно их сперва читают, а прикармливают чьи-то деньги уже потом. Наоборот, конечно, куда эффективнее.

— Деньги я действительно взял — и от тебя, и от Эрквуда, но лишь потому, что он был прав. Тебя тогда еще обременяла совершенно ненужная вещь — совесть. Эрквуд был уверен, что ты, узнав правду, покончишь с собой.

— Весьма возможно! Я еще и сейчас не застрахован от этого постоянно откладываемого самодеятельного спектакля.

— Ты? Руководитель Телемортон? — Джек резким щелчком выбил сигарету из забытой Ларуком пачки.

— Твоя постоянная марка? — угадал я.

— Неужели ты полагаешь, что я живу вне времени и пространства? Если так пойдет и дальше, лет через десять человек с легкостью откажется от всего необходимого — пищи, друзей, убеждений. Все это заменят искусственные возбудители и успокоители. Каждые тридцать минут по таблетке — и никакая мировая катастрофа не страшна.

— Ты изменился, — сказал я. — В лучшую сторону. Идешь в ногу со временем, служишь в контрразведке, куришь марихуану, не брезгуешь ради заработка подлостью. Поздравляю!

Джек засмеялся. Смех был не очень веселый.

— Не ожидал таких речей от руководителя Телемортон, — он вытер платком проступившие из-под век слезы. — Ты тоже переменялся. Был циником, стал ханжой. Ну что ж, это и современнее и выгоднее.

— О чем это ты? — Мною овладело невыносимое желание схватить его за шиворот и выбросить в окно. Но окон в комнате не было, к тому же мне хотелось понять его.

— О чем? — Джек усмехнулся. — Об этой войне. Еще более удивительной, чем «странная война» 1940 года, когда французы и англичане бездействовали по одну сторону линии Мажино, а немцы — по другую.

Станный характер военных действий ставил в тупик и меня самого. Крупные бои с участием танков и пехоты шли лишь в первые дни, потом их заменили воздушные налеты и мелкие стычки. Небольшое количество участников компенсировалось их жестокостью. Пакистанские солдаты занимали индийскую деревню, жгли дома, расстреливали, вешали. На следующий день рота индусов точно также зверствовала в каком-нибудь пакистанском селе. Попутно вспыхивали эпидемии религиозного и кастового изуверства. Брахманисты резали мусульман, мусульмане — брахманистов и буддистов, буддисты, для которых каждая тварь священна, лишали жизни и тех, и других, не брезгуя даже христианами (если те не принадлежали к персоналу Телемортон). Члены касты неприкасаемых, словно внезапно обезумев, выкручивали ноги и руки прохожим, независимо от того, к какой касте те принадлежали, одновременно за сотню миль озверевшая толпа также беспричинно забивала палками неприкасаемых. До сих пор индусы казались мне одним из самых миролюбивых народов. «Странная война» лишний раз доказала, что вера в милосердие божье или человеческий разум снабдила наши извечные клыки изящными пластмассовыми коронками, но отнюдь не затупила их. Скорее наоборот!

— Удивительно, не правда ли? — Джек сердито стряхнул пепел на стол. — И никакого выхода — куришь марихуану, чтобы не сойти с ума, и если куришь постоянно, это в конечном счете приводит к тому же результату... Ну, а мирные переговоры в Катманду? Еще одна загадка. Они начались уже на четвертый день — и Пакистан, и Индия понимают, что длительная война губительна для них. Но как только они приходят к соглашению, где-нибудь как будто совершенно стихийно обязательно начинается новое кровопролитие.

— Пакистанцев направляет Китай... — я пожал плечами.

— А Индия? Что ей мешает мириться?

— Соединенные Штаты. Кто-то ведь должен быть в

выигрыше, когда петухи дерутся! — я только повторял широко распространенное мнение, которого придерживались многие политические обозреватели.

— Вот как? — Джек усмехнулся. — В таком случае полюбуюсь!

Я взглянул на экран и почти мгновенно отключился. С темного неба падали белые купола парашютов.

— По просьбе телезрителей показываем в тридцать четвертый раз записанный на видеопленку бой в подземном храме Аджанты! — торжественно возвестил диктор.

Я понимал их, людей, которым хотелось вновь и вновь отведать незабываемого зрелища. Да и для меня самого повторный показ был сопряжен с нервной реакцией, где стиралась грань между бесконечным восхищением и беспределельным ужасом.

Искусствоведы всего мира не перестают удивляться буддистским монахом, в течение многих веков вгрызавшимся с фанатическим упорством в подземную толщу скал. В результате на свет появилось нечто небывалое — огромный храм с удивительной силы скульптурами. И все это, и поражающие своими размерами помещения, и гигантские Будды — из одного монолитного камня.

Почему пакистанцам понадобилось высадить в этом, не имеющем никакого стратегического значения, пункте парашютный десант, оставалось до сих пор неясным. Но Ларук, как всегда, заблаговременно получил достоверную информацию. Пренебрегая обычным нейтралитетом, он на сей раз предупредил индийское командование, и после короткой схватки на месте приземления десантники были загнаны в пещеру. И тут, в полутемном, населенном исполинскими статуями каменном зале, величайшей сокровищнице мирового искусства, два часа подряд трещали автоматы, взрывались гранаты, на галерее иступленно работали телемортоновские операторы, получившие свет и энергию от переброшенных в рекордный срок вертолетных движков. Ценители оплакивали невозместимые потери, зато Телемортон уже после первой передачи получил поздравительные телеграммы от многих кинорежиссеров.

— Не можешь оторваться? — Джек как-то противно засмеялся. — Коли Рим был подожжен, чтобы дать одному жалкому Нерону возможность воспеть это событие, чего только не сделаешь ради миллиарда зрителей?

Его смех прозвучал несуразным сопровождением к происходящему на экране. Один из парашютистов в поисках спасения с нечеловеческой ловкостью карабкается по отвесному каменному выступу. Тот же кадр общим планом — колоссальный нос Будды, по которому взбирается малюсенькая человеческая фигурка. Десантник уже добрался до переносицы, откуда один прыжок до огромного глаза, где исполинское каменное веко смогло бы защитить от пуль. Но смерть настигает его на полпути. Привычный для Телемортонa, прослеженный во всех этапах эффект падения, бесформенное, окровавленное тело на выщербленном лбами бесчисленных верующих скалистом полу.

— Это твоя идея? — спросил Джек.

— Идея? — повторил я бессмысленно, с трудом освобождаясь от страшного волшебства просмотренного сотни раз эпизода. По моей просьбе Лайонелл перевел кадры на восьмимиллиметровую киноплёнку, и я смотрел их, пока, к счастью, не сломался проекционный аппарат. У меня хватило разума не покупать новый, иначе мне бы опять пришлось очутиться в больнице доктора Пайка.

— Я говорю про великолепную идею превратить скульптурный шедевр в скотобойню, — сказал Джек с яростью. — И вообще, такой киногоничной войны еще не знает мировая история. Обычная война не слишком удачный материал. Когда атакуют или отступают на большом участке фронта тысячи людей, все это расплывается, хаотически дробится, объективу трудно выхватить эффектный момент, проследить смертельный поединок от первого «ура» до последнего застрывшего в горле хрипа. Тысячи смертей общим планом — кому это интересно? Может, статистику, но не зрителю...

Я уже не раз задумывался над этим. Если бы войны можно было выкраивать в каком-нибудь ателье согласно индивидуальным пожеланиям заказчика, то и тогда Телемортон навряд ли получил бы нечто лучшее. Эта была настолько идеальной, что наши погибшие от случайных ранений операторы благословляли ее даже на смертном одре.

Дверь без стука отворилась. Вошел Ларук.

— Что на этот раз? Опять кто-нибудь умер? — зло бросил я. — Я вам не директор похоронного бюро.

— Правительственная телеграмма! — Ларук уже настолько привык ко мне, что не обращал внимания на мои выходы. — Заодно пришел забрать свои сигареты.

Он протянул руку, но Джек порывистым, едва ли осознанным движением перехватил ее:

— Оставьте! Ради бога оставьте! Хотя бы несколько! Свои забыл дома.

Я вскрыл телеграмму. Меня приглашали назавтра в подкомиссию сената для дачи показаний. Каких — не объяснялось.

— Нарочно забыл, — с горечью признался Джек после ухода Ларука. — Чтобы не курить. Детский трюк! Как видишь, — он жадно затянулся оставленной Ларуком сигаретой, — даже себя самого не удастся обмануть. Может быть, ты человек такого же склада. Днем руководишь Телемортоном, а перед сном уверяешь себя, что все происходит помимо твоей воли?

— Я — фиктивный руководитель... Если я тебя правильно понял, эта война...

— Вот именно! — Джек встал. — Только из-за этого я и пришел. Как работнику контрразведки мне поручили расследовать, кто постоянно торпедировал мирные переговоры, кто организует эти ежедневные, великолепные с зрелищной точки зрения, зверства... Неужели я бы явился, чтобы после десяти лет молчания раскрыть Триденту Мортону некую правду, на которую ему давно наплевать? А вот тогда она действительно еще могла принести пользу...

— Кому?

— Хотя бы Индии. Застрелись ты вовремя, всего этого, возможно, не было бы и в помине, — он показал на экран, где демонстрировалась публичная казнь четырех кашмирцев, обвиненных в поджоге мусульманской мечети в Лахоре. — Но я, дурак, поверил твоему гороскопу, который мне тогда показал Эрквуд.

В эту минуту подкомиссия сената интересовала меня куда больше любого гороскопа. Может быть, вызов связан с предъявленным Джеком полуфантастическим обвинением? Я сразу заказал два срочных разговора. Секретарь заявил, что Лайонелл проводит важное совещание и категорически запретил соединять его с кем бы то ни было. Мефистофель тоже отсутствовал, хотя мне было точно известно, что в этот час его всегда можно застать.

— И он ничего не велел мне передать? — спросил я, инстинктивно подозревая подвох.

— Минуточку! Включаю магнитофонную запись, — секретарь щелкнул клавишей.

«Привет, Трид! — раздался в наушнике вкрадчивый голос Мефистофеля. — Если ты звонишь по поводу этой идиотской подкомиссии, то можешь не волноваться — завтра она прекратит свое существование. Но зная твоё упрямство, я все же выслал самолет. Он приземлится на центральном дельийском аэродроме в 16.00 местного времени».

Ни слова больше. Односторонняя запись. Спрашивай сколько душе угодно, но тебе все равно ничего не скажут. Я посмотрел на экран. Каждую минуту в его верхнем левом углу выскакивал циферблат с обозначением времени всех основных географических поясов. В моем распоряжении было более трех часов.

— Лечу! — объявил я решительно.

— Куда? — вяло спросил Джек. По лицу было видно, что всю свою ярость он уже выдохнул в последней реплике. Сейчас ему хотелось только одного — потихоньку придушить меня, а поскольку это было затруднительно, хотя бы просто закрыть дверь с той стороны.

— Сначала в Нью-Йорк, а потом в Вашингтон, — я стал собирать самые необходимые в дорогу вещи.

— Благородно, — Джек направился к выходу. — Прощай, Индия, а они тут пусть поубивают друг друга без меня!

Я как раз собирался бросить в чемодан аппарат гипносна. Передумав, швырнул его в Джека. Может быть, я действительно был подлецом, но не таким уж, каким рисовался ему. В эту секунду погас свет. Аппарат угодил не в Джека, а в стену. Сотрясение высвободило контактную пружинку, и столь знакомый мне мелодический шепот, нырнув в подсознание, стер память обо всем реальном — Джеке, войне, бессмысленности жизни. Я мгновенно заснул, как всегда.

— Все в порядке! — Ларук тряс меня за плечи.

— Что в порядке? — Я только что побывал в райском саду и держал в объятиях нечто облачное с пламенными волосами Торы. В этом моем саду все всегда было в порядке — изначально и во веки веков. Поэтому

взволнованные слова Ларука показались мне бредовыми.

— Бомбят! Совсем близко! Перебит городской кабель. Но я включил автономное питание.

Только сейчас я услышал глухие удары. Лампочки медленно разгорались, одновременно ожил экран. Тусклый свет становился все ярче, и, наконец, за клубами дыма возникло пылающее полуразрушенное здание. Я сразу же узнал его, но мысль, что это отель «Великий Могол», не сразу дошла до сознания. Не хотелось верить, что охваченные пламенем, изуродованные осколками, но все еще живые люди, мучительно умирающие на экране, находятся прямо надо мной.

Шок прошел. Я был в состоянии рассуждать. Десятифутовая броня надежно защищала наш подземный штаб от снарядов любого калибра, но еще надежнее — негласное табу. Не только отель, но и весь окружающий район никогда еще не подвергались воздушному налету. Телемортон был государством в государстве, неприкосновенным для обеих воюющих сторон.

— Вход завален! — через минуту опять прибежал Ларук. — Придется раскапывать. Но не беспокойтесь! Они бросят на работу хоть все население, наши ребята вовремя отправятся на задание! Даю вам слово!

— Вот видишь? — Джек закрыл за ним дверь.

— Нет, не вижу! — упрямо сказал я.

— Тогда ты слепой. Я как-то читал одну книгу о психических заболеваниях, связанных с комплексом бегства из действительности. Человек так долго пытается ничего не видеть, что вправду теряет зрение.

— Чушь! Ты утверждаешь, будто за «странной войной» стоит Телемортон. Бомбежка отеля доказывает обратное!

Собственно говоря, я понял это чуть раньше. Сила наших передач жила на постоянных переключениях, одновременности показа палачей и жертв, летчиков бомбардировщика и истребляемых ими мирных жителей. Если сбивали самолет, вместе с ним погибал наш оператор, если съемочная камера находилась слишком близко от места падения бомбы, вместе с другими умирал и наш оператор. Зато зрители неистовствовали, телевизионные компании объявляли о своем банкротстве, один за другим закрывались кинотеатры, одна за другой

открывались частные психиатрические лечебницы со всеми удобствами — плавательным бассейном, перво-классным обслуживанием и индивидуальным телемортоновским экраном над каждой койкой. На сей раз бомбежку показывали только с земли, и это было куда менее эффектно. Как зрелище, но не как аргумент в нашем споре.

Мне стало удивительно легко. И тут я вспомнил о городском, при помощи которого Мефистофелю удалось убедить Джека в ценности моего дальнейшего существования.

Можно относиться с иронией к гаданию на кофейной гуще и прочим мистическим фокусам, но когда дело касается тебя самого, верх берет любопытство.

— Что за гороскоп? Это выдумка Мефистофеля?

— Не совсем, — Джек поморщился. — Когда тебе было лет пятнадцать, Эрквуд разглядел в тебе нечто такое... В общем, он отправился к знаменитейшему астрологу, и тот, соразмеряясь с суммой гонорара, предсказал тебе не десяток, обожающих тебя детей и полдюжину безутешных вдов, а не более и не менее, как роль спасителя человечества.

Джек дождался, пока нас откопали, и ушел. Смотреть наши передачи мне больше не хотелось. Я включил гипноаппарат на восемьдесят минут сна и сразу же очутился в своем райском саду. Ничего не изменилось в нем за время, пока бомбили отель. Красные волосы — или это был горячий ветер пунцовых лепестков — плыли по моей щеке, и, когда все это кончилось и я увидел вместо Торы Ларука, было так же скверно, как в ту ночь. В ночь после первой телемортоновской передачи.

— Оставьте меня в покое! — взмолился я. — Что бы там ни случилось, оставьте меня в покое! Я больше не могу!

— Да нет, господин Мортон, все в порядке. Все наши ребята вылетели вовремя, немного запоздал только один вертолет, но оператор успел заснять самую изюминку — горящие танки на полном ходу врываются на забитую народом рыночную площадь... Просто у вас уже несколько минут трезвонит телефон.

Я сонно снял трубку. Это был Джек. Оказалось, что бомбивший отель одиночный самолет сбит. Командир спасся, выпрыгнув на парашюте. Джек только что до-

прашивал его. Он признался, что, согласно приказу, должен был вместе с остальными самолетами разрушить находящееся за пятьдесят километров от города нефтехранилище. Но один американец (его имени он не знал) предложил ему огромную сумму за каждую сброшенную на «Великий Могол» бомбу.

— Так что эту войну все же ведет Телемортон! — закончил Джек. — А кто воюет против Телемортонна, это уж ты сам должен знать.

Пожалуй, Джек был прав. Как жаль, что от Мефистофеля меня отделяло полсутки полета. Я сейчас был в подходящем настроении, чтобы поговорить с ним.

— Прощайте, Ларук! — я поставил чемодан, чтобы подать ему руку. Может быть, он и не заслуживал этого, но фанатику еще можно простить.

— Вы уезжаете?

— Да! И больше никогда не вернусь.

— Когда вылетает ваш самолет? — заволновался он...

Взглянув на телеграмму, я проверил время по экрану:

— Через час и тридцать четыре минуты.

— Это невозможно! — Кирпичное от загара лицо Ларука стало белым. — Отложите вылет! Умоляю вас!

— Почему?

— Пока я свяжусь с пакистанским генеральным штабом... — бессвязно залепетал Ларук. — Они в свою очередь с командованием ВВС... а оттуда командиру эскадрильи... Не успеют! — он весь трясся. — А если вас убьют, господин Эрквуд сделает из меня...

— Не мое дело. Я вылетаю минута в минуту.

— Подождите!

Ларук ухватился за меня обеими руками, пытаюсь оттащить от двери, но я отшвырнул его ударом в лицо. Последнее, что я увидел, покидая комнату, была кровь — кровь на его подбородке и кровь на экране.

Когда мы выруливали на взлетную полосу, вокруг аэродрома загрохотали зенитки. Я взглянул в иллюминатор. Шесть реактивных бомбардировщиков-истребителей шли клином на нас. А снизу, им навстречу, из башенных люков двух броневиков уже вытягивались сочленения телемортоновских объективов.

Вот и все! — подумал я. Подумал даже с некоторым облегчением. Мефистофель получит то, что заслужил — самый сенсационный кадр индийско-пакистан-

ского конфликта. Интересно, узнают ли меня телезрители в окровавленном месиве с влившимися в глаза осколками горелого алюминия? Едва ли...

И тут я увидел — пакистанская эскадрилья, уже почти нависая над нами, сделала резкий разворот и ушла на запад. А когда мы набрали высоту, далеко-далеко за нами с глухим уханьем взорвался горизонт.

Бедные зрители! Из-за того, что ракеты пришлось сбросить в незапланированном заранее, неподготовленном для съемок месте, они лишились огромного удовольствия. Не слишком ли высокая цена за мою жизнь?

С этой мыслью я включил свой аппарат, и уже в третий раз за день, очутился в моем райском саду. Кое-что изменилось. У Торы были те же рыжие, до самых колен волосы, но лицо индуски, а на бронзовом лбу — овальное клеймо высшей касты. И, кроме нас, в саду был еще третий — Мефистофель. Не тот, хорошо знакомый мне, с пальцами виртуоза и композиторской шевелюрой, а какой-то оперный — скорее символ, чем человек. Он занимался тем, что убивал Тору, и каждый раз, когда мне силой любви удавалось ее воскресить, он ее снова убивал.

Проснувшись, я узнал, что из-за сильного циклона нам пришлось отклониться от курса и дважды перелететь линию фронта. Но ни разу нас не обстреляли — странная война продолжалась.

9.

Мы заправлялись горючим над Азорскими островами — уже давно крупные воздушные лайнеры не зависели от земли. За минуту до стыковки с летающей бензоколонкой я размышлял о Мефистофеле. Такой человек, и вдруг нелепая вера в гороскоп — простую бумажку со знаком Зодиака. Как это провидческая трезвость его деловых замыслов могла уживаться с таким слепым суеверием? Мне стало страшно. Страшно от мысли, что все годы моя жизнь держалась на тонком волосочке, на сфабрикованном кем-то предсказании. Не будь гороскопа, заставившего Мефистофеля снова и снова спасать меня, кто помешал бы моему двоюродному

брату избавиться от главного препятствия на пути к мортоновским миллиардам?

Оба самолета уравнили скорость, из брюха заправщика высунулся сверкающий наконечник, за ним вылез весь шланг и, притягиваемый магнитной ловушкой, точно вошел в нее. Одновременно второй, другой окраски и чуть потолще, впился в борт совсем близко от меня. Что-то в салон-каюте завибрировало, запело механическим голосом, звякнуло, с диковинного люка в стене автоматически сползла внутренняя крышка, к моим ногам подкатился посланный пневматическим давлением почтовый мешок.

Уже несколько лет все международные авиакомпании таким способом доставляли пассажирам свежие газеты. На этот раз сервис был оказан явно по недосмотру. Радист, выбежавший из рубки, чтобы отобрать у меня мешок, запоздал.

— Извините, господин Мортон, но это не для вас, — промямлил он с виноватым видом.

— Зато обо мне, — ухмыльнулся я, высмотрев на второй полосе свою отпечатанную самым крупным форматом физиономию. На третьей полосе — полунагая Тора. На четвертой — ее бывший муж в наручниках. На пятой фотомонтаж — те же наручники, но уже на мне. Все остальные тридцать с лишком страниц были заполнены фотокадрами из наших передач. Изумительная бесплатная реклама, не отведи «Нью-Йорк Дейли Ньюс Таймс Геральд Трибюн» всей без остатка первой полосы огромному заголовку:

ТЕЛЕМОРТОНОВСКИЕ УБИЙЦЫ ПРЕДСТАНУТ ЗАВТРА ПЕРЕД ЧЛЕНАМИ СЕНАТА!

Об ответственности Телемортон за события в Индии я не нашел ни строчки. Зато множество гневных слов о разжигании низменных инстинктов, которому следует положить конец. В доказательство приводились беседы с социологами, психиатрами и прочими учеными мужами, подкрепленные статистикой американских граждан, вынужденных из-за хронической бессонницы и нервного истощения осаждать поликлиники и частных врачей. Четыре страницы посвящались махинациям с нашими

многоканальными телевизорами, работающими исправно лишь при приеме телемортонской программы, и новым спутником связи, с которым повторилась та же история. В списке вызванных подкомиссией на допрос числились фамилии нескольких видных учёных Национального центра космических исследований. Авторы статьи утверждали, что их подкуп и установленное на спутнике хитроумное техническое устройство обошлись Телемортону в несколько миллионов. Самым сокрушительным ударом по Телемортону, многозначительно обещала редакция, будут завтрашние показания Джорджа К. Вассермута — бывшего мужа и убийцы Торы Валеско.

Газета еще более распалила мое бешеное желание посетить перед разговором с Мефистофелем и Лайонеллом магазин спортивных принадлежностей. Удержало сомнение, на чем лучше остановиться — боксерских перчатках или увесистых гирях. Но покупка все равно оказалась бы напрасной. До следующего утра оба они так ловко прятались от меня, что исколесив в напрасных поисках сотни миль по закоулкам Нью-Йорка, заработав мозоль на пальце бесчисленным набиранием телефонных номеров, я часам к двум ночи валился с ног от смертельной усталости. Где уж там до решительного словесного боя, если я не был даже в состоянии преколовить официанту какого-то захудалого ресторанчика. На том основании, что я достаточно пьян, он чуть ли не силой впахнул меня в автомашину.

— Завтра утром вы еще будете благодарить меня, господин Мортон! — услышал я на прощание его энергичный и в то же время раболопный голос.

К утру я успел основательно забыть о нем. Я проснулся с навеванной алкоголем обманчивой убежденностью, будто прямо с аэродрома отправился спать. Протянув руку, чтобы заткнуть рот распроклятому будильнику, я ощутил ноющую мозоль на указательном пальце и сразу отрезвел. Будильник мог мне только пригрезиться. Большинство людей обходилось без них, полностью полагаясь на наш телевизор. Собственно говоря, новое усовершенствование предназначалось для сигнализирования особо интересных передач в ночное время. Если человек не включил глушитель, каждый сенсационный кадр автоматически поднимал его с постели. Но это же, соединенное с часовым механизмом ультразву-

ковое устройство, можно было завести на любой час. То, что я принял спяну за будильник, был телефон.

— Доброе утро, Трид! — Мефистофель тихо засмеялся. — Если твой пыл поубавился, можешь приезжать, мы с Лайонеллом в телецентре.

У телемортоновской девушки в коротких, чуть ниже колен, штанишках, был траурный вид. Я не понял, почему. Она отправила меня движущимся коридором, и когда он сначала приклеил меня к стене, а потом вынес обратно, я вспомнил — нечто подобное уже однажды, почти год назад, приключилось со мной. Но на этот раз я прихватил револьвер уже не для того, чтобы припугнуть Торю. Забыв про принятые технические меры безопасности, которые все равно не спасли ее, я, уходя из дома, в последний момент сунул в карман оружие. В кого я буду стрелять и буду ли вообще стрелять, мне не было ясно, но я хотел на всякий случай иметь в своем распоряжении этот последний аргумент.

Сдавая револьвер и получая взамен номерок, я наконец узнал девушку. Это она в тот вечер встречала нас с Торой. Тогда понятно, почему так печальны большие полудетские глаза под длинными нейлоновыми ресницами. Я чуть не растрогался — неужели сотрудники Телемортонa еще способны на человеческое сочувствие? Но, поднявшись на административный этаж и пройдя по бесконечно длинному коридору, я заметил то же траурное выражение на всех встречаемых лицах.

— Эта война... — начал я, едва переступая порог.

Лайонелл сидел, развалившись в кресле; Мефистофель с протянутыми руками пошел мне навстречу.

— ...должна быть немедленно прекращена! — хотел я закончить, но мои слова потонули в неожиданно заполнившем помещение неистовом реве толпы. Рев исходил из стены, целиком занятой экраном. От него оконные рамы дрожали, закачалась огромная люстра, подпрыгивали пепельницы. Я заткнул уши.

— Заглуши звук, Лайонелл! — проорал Мефистофель. Ни разу за все годы нашего общения я не слышал, чтобы он повышал голос. И этот его крик со старческим дребезжанием, почти неуловимым, когда он разговаривал, и яростный рев несметного людского полчища (они находились за кадром, причина их ярости была непоятна,

и сама ярость от этого еще более бессмысленной) — все это смахивало на сумасшедший дом.

Лайонелл, ленивой походкой подойдя к экрану, убрал звук. В кадре был длинный стол с целой грудой актовых напок и фотографий. Сидевшие за ним почтенного вида господа что-то беззвучно спрашивали, стоявший перед столом человек так же беззвучно отвечал.

— Сенатская подкомиссия за два часа до своего отпуска! — иронически прокомментировал Лайонелл.

— Помолчи! — сказал Мефистофель, пытаюсь меня обнять. Я отстранил его, но ему все же удалось схватить мою руку. Не выпуская ее, он быстро заговорил:

— Эта война... я понимаю твои сомнения, Трид! Но ты достаточно проклинал наше время, чтобы знать его законы. Как только талантливый добивается успеха, бездари начинают грязную войну. Ты думаешь, эту комедию затеяло правительство? — он брезгливо показал пальцем на экран, где сенаторы продолжали беззвучный перекрестный допрос свидетеля. — Нет, это наши полужиздыхающие конкуренты! Телевизионные компании! Их поддерживают кинопромышленники, ассоциации кинопрокатчиков, газетные синдикаты!

В самолете — да, я все знаю, первый пилот сам доложил мне о своей оплошности — ты ознакомился с сорока страницами бешеной слюны. Такая только у собаки, у которой отняли лакомую кость...

— Причем тут газета! — опешил я. Ощущение прохожего, ненароком попавшего в камеру для буйно помешанных, усиливалось. Я пришел обвинять, а вместо этого выслушиваю прокурорские речи Мефистофеля в адрес волчьих законов конкуренции.

— Газеты? — Лайонелл засмеялся. — Людям некогда их читать. Тираж «Нью-Йорк Дейли Ньюс Таймс Геральд Трибюн» снизился из-за Телемортонна наполовину.

— Хватит охмурять меня чепухой! — Я не без усилий вырвался из-под власти словесного гипноза. — Наши передачи насквозь пропитаны кровью. Если вы не закроете эту живодерню, я...

— Уже закрыли, Трид, — Лайонелл снова включил звук. — Посмотри! Этого ты ведь хотел?

На экране заседание подкомиссии сменилось сценой театра. Господин Чири с раскрытым в судорожном зевке ртом просматривал программу Си-Би-Си. После корот-

кого обзора мировых событий с механически вставленной панорамой городов, где они происходили, камера показала заседание все той же подкомиссии, но в другом ракурсе. Объектив подолгу останавливался на преисполненных благородного гнева сенаторских лицах, звукооператор умело выделял порочащие Телемортон места.

Ворчливая госпожа Чири разразилась руганью и, пустив в ход кулаки, заставила одуревшего от непрерывного зевания сына поискать что-нибудь поинтереснее. Увы, все станции транслировали пресловутое заседание.

А когда Телемортон соизволил наконец перейти на собственную программу, картина ничуть не изменилась. Сенаторы спрашивали и обличали, свидетели утверждали или отрицали. Удивляла блестящая работа наших операторов: тайком заснятая шпаргалка, которую председатель прячет под столом, а над столом — его кулак, в патетическом жесте рассекающий воздух; тягучий перекрестный допрос, и уже другой сенатор тихонько храпит, спрятавшись от публики за раскрытой актовой папкой.

Я отлично знал — обвинения весьма близки к истине, но даже мне временами начинало казаться — клевета, пустая болтовня, ничего более.

Перебивками показывали зрительный зал телетеатра. Полупустой, с непрерывным мельканием спешащих к выходу разгневанных посетителей. А на лицах тех, что оставались, — знакомое мне похоронное выражение. Опять заседание подкомиссии. И внезапно, как разрыв грозы после медлительной серой тучи, голос ведущего:

— Телемортон вынужден показывать программу, от которой вы давно отвыкли. У нас за это время накопились видеопленки с потрясающими по своей драматичности эпизодами индийско-пакистанской войны, землетрясения в Чили, рухнувшей под Токио монорельсовой дороги, где погибло несколько сот человек, нападения гангстеров на филиал Первого национального банка в Канзас-Сити, перестрелки полиции с членами негритянской боевой организации в Лос-Анжелесе, во время которой была убита популярнейшая кинозвезда Бесси Девилл... Но поскольку сенатская подкомиссия считает нашу деятельность вредной, мы отказываемся от их показа. Если вы хотите возобновления наших обычных передач, добивайтесь этого сами! Отправляйтесь в Вашингтон! Протестуйте! Докажите, что вы граждане

свободной страны и имеете право видеть на экране то, что вам хочется!..

А болтовня продолжалась, все больше зрителей (объектив почти ежесекундно показывал то одного, то другого) возмущенно покидали наш телевизионный театр.

— Так что же я, по-вашему, должен делать — врать, что всего этого не было? — спросил я, обращаясь к Мефистофелю. Обращаться к Лайонеллу не имело смысла — с глуповато-довольным видом он катал бумажные шарики, небрежно прицеливался, а потом запускал какому-нибудь сенатору или свидетелю в нос. Весь пол перед экраном был уже усеян вещественными доказательствами его англосаксонского юмора в цыганской интерпретации.

— О чем ты говоришь, Трид? — бросив укоризненный взгляд на Лайонелла, мягко спросил Мефистофель.

— О моем выступлении. Меня вызывают на 12 часов.

— Ну и прекрасно! — отозвался Лайонелл. — К тому времени с ними будет покончено. Так что, если у тебя возникнет желание покаяться, придется обратиться к американскому народу. А как он примет твою исповедь, это ты сейчас поймешь.

Он переговорил с кем-то по телефону, потом стрельнул бумажным шариком в Мефистофеля.

— Собралось уже около полумиллиона. Маловато, но ждать нам тоже невыгодно, — нажав кнопку Интеркома, он коротко приказал:

— Боб? Ты слышишь меня? Переключай на площадь!.. Автофургоны уже прибыли... А потом дай все подъездные пути, особенно магистральное шоссе. Итак, рецепт коктейля: по пять минут народной реакции на каждую минуту заседания.

Он еще что-то сказал, но я уже не слышал, оглох. На этот раз никто не убирал звука, он был страшен — крик полумиллиона ополоумевших матерей, от которых оторвали любимое дитя. Я увидел площадь перед Капитолием и бледных полицейских, плотной стеной преграждавших вход в подъезд, за дверьми которого проходило заседание подкомиссии, а в одном из окон еще более бледное лицо сенатора — того самого, который совсем недавно, заглядывая в шпаргалку, патетически размахивал кулаком. Сотни тысяч теснились на площади, и стоило одному из них оступиться, как его немедленно

растоптали бы в спрессованной единой фанатической волей чудовищной толпе, и никто, кроме растоптанного, даже не заметил бы этого. Все семьсот тысяч, а может быть, и больше, глаз были устремлены на экраны неправдоподобных размеров, установленные на колоссальных автоприцепах. Толпа видела все, что происходило за закрытыми окнами, за охраняемыми дверями, и с каждым сказанным против Телемортонa словом усиливался неистовый рев:

— Телемортон! Телемортон! Возобновить передачи!

А потом я увидел шоссе на подступах к Вашингтону, и висящее над ним сплошное облако выхлопных газов, и растянувшееся на бесконечные мили многотысячное стадо стальных мамонтов и окровавленных, избитых полицейских, отчаянно пытавшихся остановить его.

Мне было восемнадцать лет, когда хоронили Джона Кеннеди. Официальный Вашингтон проснулся утром потрясенный — на всем следовании траурного кортежа стояло вдвое больше людей, чем могли вместить улицы. Люди все прибывали, головные машины уже миновали пригород столицы, а хвост невиданной колонны еще только вытягивался из Балтиморы. В основном это были молодые американцы. Им, собственно говоря, не за что было любить Джона. Живой, он был таким же президентом, как все, разве чуть помоложе, с чуть большим желанием разобраться в крошечной путанице. Но та же Америка, что убила его, убивала и их. День за днем, незаметно и почти безболезненно.

Я понял, что игра проиграна. И для сенаторов, и для меня, и для всех, кто, раскусив вовремя приманку, тщится вырвать ее в последний момент из жадно раскрытого рта обреченного. Ничего не изменится даже в том случае, если я, руководитель Телемортонa, рассказал бы всю правду этому полумиллиону, что с каждой секундой, обрастая новыми тысячами, грозил перерасти в бушующий миллион. Не правда была нужна этим людям, а круглосуточные передачи, волшебное царство сопереживания, полное погружение в кипящий океан смертельной опасности и насилия, без которого они уже не могли больше жить.

— Столица Соединенных Штатов еще не видела такого единодушного проявления народной воли, — объявил диктор. — По предварительным подсчетам, число демон-

странтов превысило восемьсот тысяч. Каждую минуту на автобусах, поездах, самолетах и частных автомобилях в Вашингтон прибывают еще десять тысяч. Автомобильная колонна на главном въездном пути растянулась уже на пятьдесят миль. Правительство мобилизовало национальную гвардию, но почти все гвардейцы отказались повиноваться приказу. Сотысячные демонстрации протеста проходят в Нью-Йорке, Чикаго, Питсбурге, Далласе, Сан-Франциско и многих других городах. Почти во всех столицах Свободного мира возмущенные толпы осаждают американские посольства.

— Ну вот, Трид, — проговорил Мефистофель. — Оцени по достоинству! Я уже слишком стар для таких схваток, всю стратегию и тактику от неприличной ругани мамыши Чири до храпящего сенатора разрабатывал один он!

— Этот храп обошелся нам недешево, — по-мальчишески озорно рассмеялся Лайонелл. — За пять минут храпа господин Уилсон потребовал эквивалент годового жалования. Но я неплохо сэкономил при помощи снотворного, которое официант сенатского буфета подсыпал ему перед самым заседанием.

— Еще год назад я говорил: Лайонелл Марр, в отличие от Наполеона и прочей мелкоты, создающих империи кровью собственных солдат, создаст твою чужой кровью, — продолжал Мефистофель. — Но теперь...

— Если не считать десятка погибших на боевом посту... — с иронией заметил Лайонелл. — К сожалению, Трид не одобряет даже самые малые потери...

— Убивайте своих! Они знают, на что идут, когда присягают Телемортону на жизнь и на смерть! — хрипло сказал я. Вернее, крикнул. Площадь перед Капитолием и расходящиеся радиусом улицы вокруг нее показывались с вертолета, но сливающиеся в оглушительный шум нестройные крики даже на высоте двух тысяч футов звучали, как неистовство Ниагарского водопада, когда стоишь на самой середине мостика, а на тебя валится двадцатипятиэтажная водяная стена. — Но кто воскресит хотя бы те трупы, которые мне пришлось видеть в Индии?..

— Никто! — сухо ответил Мефистофель. Несмотря на жесткую интонацию, он заметно волновался. Телемортонская сигарета ходила ходуном в его тонких, с синими

старческими прожилками, пальцах. — Никто! Ты совершенно прав, Трид, но только по-своему. Телемортон с этой минуты уже принадлежит истории, а история никому не подсудна. Я многое сделал за свою жизнь, трудился с раннего утра до поздней ночи, но вот приходит Лайонелл и одним щелчком опрокидывает Вавилонскую башню государственного ханжества, о которую я вот уже полвека бьюсь лбом. Ты только что видел одну из величайших побед, и при этом не было пролито ни единой капельки крови!

— Замолчите! — я услышал имя Васермута.

— Прошу пригласить свидетеля Джорджа К. Васермута, бывшего мужа Торы Валеско! — объявил секретарь подкомиссии. Ему пришлось кричать в микрофон — несмотря на закрытые окна и спущенные шторы ревущая площадь громким звуковым фоном присутствовала в зале заседания.

Ввели Васермута, спаренного наручниками с сопровождающим его полицейским. Начало его выступления потонуло в глухом шуме. Председатель подкомиссии приказал снять с него оковы. Ухватившись обеими руками за ножку микрофона, Васермут наклонил его к самому рту. Лишь тогда мне удалось разобрать слова.

— Сколько вам заплатили?

— Полмиллиона.

— Почему так много?

— Сто тысяч — за убийство, двести тысяч — на адвокатов, остальная сумма депонировалась в банке на тот случай, если меня все же не оправдают.

— Итак, за каждый год тюремного заключения вы получили бы от Телемортонa примерно двадцать тысяч?

— Да!

Как только Васермут заговорил, я подошел поближе к телевизору, чтобы лучше слышать. И вдруг я почувствовал, как подо мною поплыл пол. Но я знал точно — это вовсе не пол, а крохотная площадка десятифутового постамента, на котором Тора вознеслась над зрительным залом. Вместе с площадкой покачнулось пространство. Я увидел еще выше, у самого потолка, над последним рядом амфитеатра, над казавшимися отсюда крохотными головами зрителей — галерку, а над ней развалившегося в кресле Лайонелла. Мефистофель подал ему снайперскую винтовку, Лаонелл небрежно прицелился, я

услышал сухой, прерывистый треск, меня сначала зашатало, а потом чудовищной силой сбросило с десятифутовой вышки.

Я знал, что разобьюсь насмерть, но когда я упал — а падал я в действительности, — подо мной оказалось ловко придвинутое Лайонеллом мягкое поролоновое кресло.

Как ни странно, самым первым, похожим на боль, ощущением, была не жгучая ненависть, а беспомощный гнев обманутого самим собой человека. Я снова слышал слова Джека: «Детский трюк! Как видишь, даже себя самого не удастся обмануть. Может быть, ты человек такого же склада?» Где-то в подсознании уже давно затаилась истина, она прокрадывалась даже в блаженные грезы о райском саде — недаром таким мучительным было мое последнее пребывание в нем, когда развороченный ракетами индийский горизонт перевоплотился во сне в индийскую женщину с лицом и волосами Торы, ее убивали на моих глазах, убивали снова и снова, убивали с железно осмысленной беспощадностью. Но я был слаб, и в своих достоинствах и даже пороках я боялся признать правду правдой, потому что она была невыносима. А сейчас оставалось только одно — выполнить, наконец, давно задуманное, откладываемое по слабости, по трусости из года в год, а перед этим честно заплатить Торе за свое косвенное участие в кровавой рекламе Телемортон.

Но еще я был жив, и пока существовал, существовал и Телемортон. Я мог думать о чем угодно, но продолжал глядеть на экран — болезнь была неизлечима.

На площади перед Капитолием творилось нечто невообразимое. И, может быть, потому, что я, несмотря на свое омерзение и нежелание, все же являлся одним из толпы, ее реакция на выступление Васермута не удивила меня. Если Телемортон действительно пожертвовал ради зрителей своей звездой Торой Валеско, он был достоин в их глазах не меньшего обожествления, чем Нерон, ради удовольствия римской черни бросавший христиан на растерзание диким зверям. Охрипшие от криков, теснимые вновь прибывшими, подпавшие под воздействие слепой стихийной ярости, когда на смену рассудку одиночки приходит массовое безумие, люди ринулись на автофургоны с экранами. Васермута все еще

допрашивали, но он больше молчал. Говорил председатель подкомиссии, и каждое его слово сопровождалось уже не ревом, а ураганным взрывом. Кто-то, не в силах добраться до него самого, разрядил свою ярость, запустив булыжником в его изображение. И вот уже сотни и тысячи громили экраны всем, что попадает под руку, а потом — пожалуй, в эту минуту их не остановил бы целый корпус национальной гвардии — первая людская волна, почти сидя на плечах неудержимо напиравших сзади, обрушилась на полицейских. Их мигом смяли, опрокинули. И не только физически. Следующий кадр уже показывал эту толпу на лестнице Капитолия, среди мужчин и женщин в штатском мелькали полицейские мундиры, и когда первая волна атакующего миллиона ворвалась в зал заседания, в полицейских мундирах сидели уже не исправные служаки, а те же телемортонские зрители. Они не щадили никого, кроме наших операторов, резиновые дубинки со смаком крушили сенаторские головы, один из членов подкомиссии пронзительно выл, закрываясь обеими руками от ударов, под столом валялся сбитый со стула и все еще храпевший сенатор Уилсон, и среди этого оглушительного столпотворения звучал истерический голос Васермута.

На волоске от линчевания, он, не выпуская микрофона, успел вскочить на стол, и теперь, отбиваясь ногами от тянувшихся к нему рук, стоя среди растерзанных актовых папок и фотографий, кричал страшным голосом уже почти вздернутого на виселицу преступника:

— Это ложь! Ложь! Меня подкупили телевизионные компании. Мои показания недействительны! Я стрелял в Тору из-за ревности. Все остальное — ложь!

Но я-то знал, что это не ложь.

10.

— Вы убили Тору! — сказал я. — Ей я уже ничем не могу помочь. Но война, которую ведет Телемортон в Индии, должна сегодня же кончиться.

— Трид, успокойся! — зашептал Мефистофель. — Хочешь, я вызову врача?

— Он сошел с ума! — Лайонелл заметался по ком-

нате. — Это невозможно! Сколько таланта, сколько средств вложено! Наш лучший козырь! Двадцать процентов всей программы на полгода вперед! Мы просто не можем позволить себе такое безрассудство!

Я размахнулся, чтобы ударить его, но он ловко увернулся.

— Хватит! — тихо сказал Мефистофель. — Даже Александру Македонскому случалось изредка вспомнить, что он — человек... Война будет прекращена, Трид, это я тебе обещаю! Немедленно! Слышишь, Лайонелл?

Лайонелла с нами уже не было. Вместо него вошел секретарь, доложивший о приходе господина Бонелли.

Я столкнулся с этим господином в дверях. Выйти мне не удалось, он схватил меня в свои лапищи. Мои кости затрещали под его могучими бицепсами.

— Мой дорогой Мортон, если бы вы только знали, как я рад, что вы еще живы. Но положитесь на Джеймса Бонелли — с сегодняшнего дня вам больше ничто не грозит.

— Кто этот болван? — спросил я ошалело.

— Ваш бывший телохранитель Джеймс I. Неужели вы меня не узнали, дорогой Мортон?

Узнать его было трудно. Солидный костюм, солидное брюшко, дорогие перстни на пальцах, высокопарные фразы вместо прежних односложных «да» и «нет» — сразу заметно, что Джеймс преуспел.

— Коммерсантом стали, а, Джеймс?

— Угадали, мой дорогой Мортон! — Он фамильярно похлопал меня по плечу.

— Подходящая профессия для бывшего главаря молодежной банды, — хмыкнул я, сам удивляясь своей способности поддерживать этот в высшей мере идиотский разговор. Но так, очевидно, устроен человек — за пять минут до эшафота просит шляпу, чтобы не простудиться (это я вычитал в мемуарах какого-то знаменитого палача), за пять минут до самоубийства, со страшным потрясением в полупарализованном мозгу, пытается пустячной болтовней облегчить невыносимую ношу.

— И не вспоминайте, мой дорогой Мортон, — сокрушенно покачал головой Джеймс. — Просто стыдно подумать, сколько времени зря ухлопано. Сейчас я серьезный деловой человек. — Он направился к Мефистофелю и,

выложив на стол аккуратно отпечатанный на машинке листок, весело сказал:

— Вот вам предварительная смета, господин Эрквуд. Один процент соответствует десяти тысячам долларов. Итак: 1) за организацию и планирование операции — 20%, 2) основному исполнителю за проведение операции — 10%, 3) двум помощникам — еще по 10%, 4) на адвокатов — 25%, 5) от 10 до 15% — на непредвиденные расходы, в том числе компенсацию за тюремное заключение (из расчета 1% на человеко/год), 6) от 20 до 25%...

Его прервал экран. Расплывчатая стена, вдоль которой молниеносным фантомом мелькнул автомобиль. Не сбавляя скорости, неистовый смерч грохочущего металла и выхлопных газов наскочил на встречную машину, превратил ее в обломки, и без кузова, с искореженным радиатором, теряя на ходу выброшенное страшным ударом заднее сиденье, помчался дальше. Перелетел через лежащий поперек дороги охваченный пламенем грузовик, загорелся, встал на дыбы, опрокинулся.

Я снова увидел стену. Она приблизилась вплотную, раскололась на сотни человеческих лиц, ожила в нечеловеческом вопле. Гонщику чудом удалось выпрыгнуть, весь запеленутый в кожу — от шлема до защитного костюма, он пытался уползти с дороги, а по ней уже мчалась следующая машина, вернее то, что от нее осталось, — мотор и колеса.

Из подъехавшей кареты скорой помощи к нему бросились спасатели, сбили мокрым брезентом пламя, сдержали дымящийся шлем с плексигласовой маской, и когда под ней показалось окровавленное, в ожогах лицо, живая стена колыхнулась в единомышленном порыве. Благодарные зрители награждали гладиатора громовыми рукоплесканиями.

— Говорит Бен Абрахам, Телемортон, Соединенные Штаты, 530. Мы показываем встречные гонки с препятствиями, победителю которых достанется пять тысяч долларов. Кроме того, разыгрывается учрежденный Телемортонем дополнительный приз — десять тысяч долларов за самый эффектный зрелищный кадр. Его присудят большинством голосов зрители нашего телевизионного театра... Только что на дистанцию вышел Вернон Схимхок, по прозвищу Дьявол, хорошо известный в Гол-

ливуде, где он возглавлял парамаунтовскую группу каскадеров...

— Поздравляю, мой дорогой Эрквуд! — проникновенно сказал Джеймс. — Поздравляю от всей души. Вы делаете большое, нужное дело... Кстати, я уполномочен предложить вам, пока еще в неофициальном порядке, взаимно выгодное сотрудничество. За определенную весьма умеренную плату, мы могли бы заранее извещать Телемортон о наших предстоящих операциях...

На экране стадион сменился снятым сверху зрительным залом телевизионного театра. Он быстро заполнялся людьми...

На сцене — господин Чири на радостях бурно обнимал свою мамашу.

— Для вас, дорогой мой Эрквуд, это, конечно, большой праздник, — прокомментировал Джеймс. — Но у меня, к сожалению, не так уж много времени, — он придвинул листок поближе к Мефистофелю. С трудом оторвавшись от экрана, Мефистофель рассеянно заглянул в смету. — Миллион? Целый миллион? — Он даже присвистнул от удивления.

— А вы сначала прочтите, как следует! — обиделся Джеймс. — Это ваш Васермут мог себе позволить работать по дешевке — мотив ревности, сочувствие рогоносцев среди членов жюри и публики.

Я взглянул на Мефистофеля. «Отрицай, отрицай!» — почти молил я. Но он молчал. Потом еле заметно кивнул. И тогда я понял, что еще надеялся на чудо, — может быть, Телемортон все-таки неповинен в смерти Торы. А теперь с оглушительным шумом оборвалась последняя призрачная ниточка, уже не спасительная, но по-прежнему отчаянно необходимая.

Я хотел броситься на Мефистофеля, но мне еле удалось добраться до ближайшего кресла. А Джеймс тем временем бодро продолжал:

— наших людей, если их поймают, будут защищать Симпсон и Файербенд — знаменитости, экстра-класс, хотел бы я получать такой гонорар! Но и этим абсолютным чемпионам красноречия вряд ли убедить суд, что небезызвестный, многократно задержанный полицией субъект убил миллионера Болдуина Мортон из-за того, что тот лез под юбку его горячо любимой супруги. Поэтому мы включили в смету пункт шестой: от 20 до 25%

за устройство побега из тюрьмы... Итак, подписывайте чек, и делу конец! — скомкав листок, Джеймс деловито поднес к нему золотую зажигалку и, прикурив от пылающей бумаги длинную гаванскую сигару, разъяснил мне: — Ни одно лицо, правда, не упоминается здесь по имени, но, знаете, мой дорогой Мортон, в нашей тонкой профессии лучше не оставлять следов...

Джеймс был настолько увлечен собой, что не замечал моего состояния. Мефистофель рассеянно следил за догорающей в пепельнице сметой, но я чувствовал: его недюжинный ум работает вовсю, чтобы секунда в секунду уловить мою следующую реакцию и мгновенно перехватить инициативу.

— Пусть Болдуин живет! — сказал я. — Существует лучший выход!

Мефистофель, не глядя на меня, вытащил из внутреннего кармана пиджака чековую книжку:

— Это отвратительно, я совершенно согласен с тобой, Трид! Но иного выхода нет! К счастью, твой двоюродный брат не знал, что убежище под «Великим Моголом» защищено не только трехъярусной броней, но и противосколочными амортизационными прослойками. Иначе ты не сидел бы сейчас рядом со мной и не узнал бы горькой правды о своей Торе... А я ведь уже давно собирался тебе рассказать... — он виновато вытер глаза носовым платком.

Мефистофель был кем угодно, только не ханжой. Он ставил ловушку, заманивал в нее противника, беспощадно уничтожал, но никогда, ни при каких обстоятельствах не произносил сочувственных речей над могилой жертвы. И вдруг — это полупокаяние, сделанное в такую минуту, когда, будь у меня револьвер, весь заряд, возможно, прорешетил бы его упрямо открытые, с грустинкой, глаза. Но вместо оружия у меня в кармане был всего лишь номерок от камеры хранения. Осозав всем своим существом — победить я могу только мертвого, живой Мефистофель снова возьмет верх, — я грубо вырвал из его руки уже подписанный чек и бросил в пепельницу. Он соприкоснулся с тлеющим пеплом, воспламенился, закорчился в агонии, и я, следя за его медленной смертью, представлял себе, что умирает мой злой гений.

А на экране буйствовал праздник. Тысячи болельщиков с самого утра толпились вокруг телебашни, ожидая

исхода великой битвы. Сейчас они были вознаграждены — громкоговорители объявили, что их всех до единого пустят в театр без билета. Давя друг друга, они устремились к подземным тоннелям. Следующий кадр уже показывал, как они заполняют все проходы амфитеатра, кишачим муравейником облепляют обычно пустую галерку, лезут на сцену, качают на руках господина Чири и его огромную мамашу.

— Ты совершенно прав, мой мальчик! — внезапно сказал Мефистофель. Никогда доселе он не называл меня так. — Совершенно прав, — повторил он. — Даже за такого мерзавца, как Болдуин, миллионы — это уж слишком. Мне кажется, наш Джеймс пытается на этот раз сочетать тонкую профессию с грубым вымогательством.

— Я? — Джеймс подскочил. — Дорогой Мортон, объясните вашему Мефистофелю, что не такой я человек. Хотя, состоя при вас телохранителем, научился деловому подходу именно у него! Но Джеймс Бонелли умеет быть благодарным! Для вас, — он поклонился Мефистофелю, — для вас, кто вытащил меня из чикагских трущоб, хоть задаром! Но, увы, это пока еще не мое личное предприятие. И если вы, мой дорогой Мортон, полагаете, что ваш в высшей мере живописный жест внесет коррективы в нашу смету, то глубоко ошибаетесь. Мы работаем по твердому прейскуранту!

— Ладно! — вырвав из чековой книжки новую страничку, Мефистофель повернулся ко мне спиной, чтобы заполнить ее. Только сейчас я заметил, насколько он ссутулился за месяцы моего отсутствия. После больницы мы с ним разговаривали лишь по телефону. Пока я был в Индии, он ни разу не связался со мной по международному видеону. Я помнил его еще прямым, властным, несогбенным в каждом движении и слове. А теперь, глядя на старческую спину, подумал — ненадолго он переживет меня. Его по-прежнему великолепная голова отбрасывала на экран огромную тень, эта тень казалась мне посмертной гипсовой маской, сквозь нее цветными пятнами проступала гоночная трасса. А на ней: два вставших при столкновении на дыбы автомобиля, через них перелетает третий, врывается в четвертый, взрываются моторы, чад горящего бензина густой пеленой скрывает все четыре машины. И двойной ликующий вопль —

режиссер умело показал одновременно и публику в зрительном зале, и публику на трибунах. Ликование все нарастало, а аварийная команда, уцепившись длинными крюками за накаленные докрасна обломки, уже стаскивала их с дороги.

— Нет! — я остановил Мефистофеля.

— Ваше дело, — Джеймс пожал плечами. — Не устраивает — Болдуин Мортон останется жив, а вместо него умирает Тридент Мортон.

Вошел секретарь и что-то шепнул Мефистофелю на ухо.

— Хорошо! — Он быстро заполнил чек.

— Нет! — сказал я, медленно придвигаясь к нему. — Я сам!

— Сами? — Джеймс засмеялся. — Не советую. Для такой операции у вас слишком тонкая кишка. Попадётся, как пить дать! Это — профессия! Дилетантам лучше держаться подальше.

— Глупости, Трид! — Мефистофель безуспешно пытался казаться спокойным. — Вот чек! — Его дрожащая рука как будто искала кого-то.

— Десять тысяч?! Вы издеваетесь! — Джеймс, заглянув в чек, сердито пустил ему в лицо дым.

— Не вам! — Мефистофель наконец заметил стоявшего рядом секретаря:

— Берите, Сэмюэл. Перешлите вертолетом!

Словно нащупывая в темноте опору, он протянул руку. Секретарь подхватил чек. Рука повисла в воздухе. Откровенно немощная старая рука со слабо пульсирующими голубыми венами под бесцветной морщинистой кожей.

А на экране я видел другие руки. Руки в асбестовых перчатках. Руки, державшие на весу труп с еще тлеющими на обугленном теле лохмотьями. И когда они с размаху перебросили его через борт грузовика, перед моими глазами предстала арена времен Нерона — с нее точно так же стаскивали крюками мертвых львов, точно так же навалом грузили на колесницу поверженных гладиаторов.

— Вернон «Дьявол», самый вероятный претендент на лавры победителя и пять тысяч долларов, выбыл из состязания! — сообщил телеоператор. — Но зрители нашего театра единодушно присудили ему приз за самый эффектный трюк. Я рад сообщить присутствующей здесь

вдове (на экране крупным планом слезы, они смазывают грим с лица безудержно рыдающей женщины), что чек на десять тысяч будет ей вручен после окончания гонок.

— Ты твердо решил? — Мефистофель привстал мне навстречу. Пройдя полрасстояния, он покачнулся, ухватился за Джеймса, минуту простоял недвижимо, потом резко оттолкнулся от него:

— Извините, Джеймс, но наша сделка не состоится.

— Как это так — не состоится? Что ж вы мне морочили голову! А моя затраченная на организацию энергия? А два часа машинного времени по высшей расценке? Вы не понимаете? Ну, тогда я вам объясню! — Джеймс швырнул недокуренную сигару в пепельницу. Вспыхнуло пламя, за клубился дым, Джеймс, закашляв, перешел с крика на яростный хрип: — Мы абонируем в электронно-вычислительном центре Колумбийского университета сто двадцать минут в неделю! Девяносто шесть из них машина потратила на вашу операцию! Вы считывала, когда Болдуин Мортон выходит из дому, когда приходит в правление Объединенного Пантеона, у кого бывает в гостях, в каких ресторанах обедает, а потом посоветовала, когда и в каком месте его лучше всего прихлопнуть... Это просто свинство, Эрквуд!

— Мне сейчас не до вас! — Мефистофель показал ему на дверь. — Трид, это безумие! — Он словно заклинал меня.

— Тогда по крайней мере возместите нам расходы! — зашипел Джеймс.

Лихорадочно заполнив чек, Мефистофель бросил его на стол:

— На! А теперь убирайся!

Джеймс, на ходу засовывая чек в бумажник, еще бормотал проклятия, а Мефистофель уже говорил, говорил быстро, шепотом, еще быстрее, словно боясь упустить хотя бы секунду.

— Трид! Сначала послушай меня! Ты не имеешь права причинить мне такую боль. Твоя Тора — она все равно должна была погибнуть. Не отрицаю, для старта нам нужна была сенсация. Но мы никого не собирались убивать, хотя это так просто. Сам видел! Росчерк на чеке, несколько нулей после любой цифры — и все. Шесть нулей за Болдуина Мортон, три, от силы четыре, за Тору Валеско... Но ты ее любил, и это решило ее

судьбу. Я велел собрать сведения о прошлом Торы, узнал, что у нее муж, она развелась из-за тебя. У нее сын от него. Это она тоже от тебя скрыла. Мои люди следили за Васермутом, видели, как он покупал винтовку. Он непременно убил бы вас обоих — в церкви при бракосочетании или во время свадебного путешествия. Телохранители не спасли бы тебя, при каждом подходящем случае ты старался от них избавиться. Все равно, кто будет в тебя стрелять — другой или ты сам, — я никогда этого, никогда не допущу... Как с Болдуином, существовал только один выход. Полюбив тебя, Тора при любых обстоятельствах должна была умереть, но, умирая одна, она тем самым спасала тебя... Я делец, Трид, торгую смертями чужих людей, но не смертью близкого тебе человека.

Он не лгал. Он никогда не лгал. Но правдой было и то, что Васермут попал в театр с его ведома, что снайперская винтовка была заранее принесена, что три выстрела, стоивших полмиллиона, за одну ночь сделали Телемортон самым могущественным и страшным из всех духовных ядов, которыми когда-либо отравляли мир.

— Спасибо! — сказал я с улыбкой.

— За что? За горькую правду? Раньше или позже я так или иначе...

— Спасибо от имени телезрителей! За то, что, спасая меня, вы не забыли о них. Вы всегда умели сочетать полезное с приятным... Даю вам еще одну неплохую возможность. Позвоните режиссеру и оператору, пусть они спустятся к выходу № 1. Там в камере хранения мой револьвер. Чтобы отблагодарить вас за все, я готов принять самую эффектную позу. Даже отрепетировать ее заранее.

— Не надо, Трид! Не надо. То, что мы сделали с Торой, может быть, действительно, страшная подлость, но я частично искупил ее.

— Чем? Трусами в Индии? И... — я посмотрел на него и осекся. Как стар он был в эту минуту — дряхлый старик, беспощадно принесший в жертву своему неумолимому богу не только Тору, не только тысячи безымянных, но и самого себя!

— Я не хотел говорить тебе об этом, Трид... Чтобы не потревожить свежую рану. Тора похоронена на Пантеоне Бессмертных, в одной из десяти могил, что окру-

жают храм с прахом твоего отца. Скоро и я буду лежать рядом с ней. А когда придет твое время, ты будешь третьим. Никому, даже президенту Соединенных Штатов, ни за какие деньги не достанется такая почесть! Но Тора заслужила... Вот, посмотри! — Он вынул из письменного стола фотографию.

Кругом розы, буйно растущие розы необычайной красоты, они разметались, словно пламенные волосы, а посреди — усыпанная алыми лепестками белая плита каррарского мрамора с надписью:

ТОРА ВАЛЕСКО

Звезда Телемортон

Убита при исполнении служебных обязанностей

— Может быть, это нужно вам, но не ей, — я отстранил фотографию. — Мир в Индии — единственный памятник, который я прошу для Торы... И для себя, — добавил я неслышно. — Вы обещаете?

— Нет! — Он уже снова стал прежним Мефистофелем.

— Почему?

— Потому что не могу обещать того, что уже сделано.

Я не помню, что показывал экран во время нашего разговора. Может быть, записанное на видеопленку крушение монорельсового поезда под Токио, может быть, землетрясение в Чили, может быть, и то и другое... Мне почему-то казалось, что все еще продолжают безумные гонки с препятствиями. И когда на меня взглянула забинтованная голова, я был уверен — это один из пострадавших гонщиков.

Больничная койка, на заднем плане — медсестра, строящая глазки кинооператорам, на переднем — обвешанные магнитофонами репортеры. Неужели жалкий трюкач, рисковавший жизнью ради пяти тысяч, достоин такого внимания?

— Могу вам сообщить, что выдвинутые против Телемортон обвинения не подтвердились. Подкомиссия распущена, — с усилием прошептала забинтованная голова.

— Господин сенатор! Не сыграл ли при этом некоторую роль оказанный на вас физический нажим? — спросил с усмешкой один из журналистов.

— Ни в коем случае! Защита народных интересов побудила меня возглавить работу подкомиссии, она же... Сенатора на полуслове прервал наш диктор:

— Сейчас новый руководитель Телемортон Лайонелл Марр зачитает обращение к правительству Соединенных Штатов!

Он возник на экране внезапно. Секунду молчал, словно давая возможность миллионам запечатлеть в памяти свое лицо. Все та же поношенная замшевая куртка, как и при первой нашей встрече. Длинные, совершенно прямые волосы цвета вороненой стали. Цыган? Пожалуй. Но только по огню, который, казалось, вот-вот вырвется из пронзительно черных зрачков. А по неподвижному, словно каменному лицу скорее индеец.

Лайонелл небрежно вытащил из кармана измятую бумажку, и ровным, почти лишенным интонации, голосом прочел:

— Поскольку правительство, не воспрепятствовав деятельности подкомиссии сената, показало полную неспособность политиков руководствоваться благом нации, Телемортон впредь рассматривает как платное объявление любое политическое выступление — от предвыборной речи кандидата в конгресс до послания президента народу. Чтобы оградить интересы наших зрителей от ожидаемого в связи с этим резкого увеличения уделенного коммерческой рекламе времени, плата за нее вчетверо повышается!

Он исчез так же внезапно, как появился. По экрану поплыла величественная река. Священный Ганг! Я узнал его прежде, чем увидел верующих, входящих в воду для религиозного омовения, немощных калек, которым сострадательные единоверцы приносили в ладонях глоток исцеляющей воды, бесчисленных паломников вдоль всего берега. Неужели мир? — не решался я поверить. Но так торжественны были звуки песнопения, так полны неземной отрешенности темные лица, так безоблачно горячее небо Индии, что я в благодарном порыве даже стиснул Мефистофелю руку.

А потом я чуть не оторвал ее — с синего неба посыпались пулеметы и бронетранспортеры; они висели на стропах разноцветных парашютов. С борта пакистанского самолета я увидел прыгавших вниз, на паломников, парашютистов, и пока другие операторы показы-

вали зенитчиков у орудий и поднятых по тревоге индийских танкистов, бронетранспортеры с десантниками и пулеметами уже врезались в толпу. Ошалело трещали пулеметы, были раненые, причитали над трупами близкие, многотысячная толпа продолжала молиться.

Это дикое, бессмысленное избиение паломников даже с точки зрения избалованных телемортоновских зрителей являлось потрясающим эпизодом.

Вошедший в комнату Лайонелл довольным взглядом скользнул по экрану.

Меня душила невыносимая ярость. Все пустозвонные обещания, превращенные в новую пирамиду мертвецов, все эти пышные розы над истлевающим под каррарским мрамором мертвецом, над останками Торы, со смертью которой началось существование Телемортон — даже самый утонченный палач не способен придумать такую пытку.

А пулеметная пальба удалялась. Вместе с ней удалялись берега, на экране остался один лишь священный Ганг, и по его желтоватой глинистой воде, по неторопливому течению — рекой в реке — бежал пенящийся поток багровой крови.

— Вы только что видели последний эпизод индийско-пакистанской войны, — возвестил диктор. Размытое бордовое пятно залило весь экран. И сразу — белоснежные пики Гималаев, а совсем внизу — крошечные остроконечные крыши Катманду. Ворота старинного дворца, их охраняют три олицетворения бога мудрости Ханумана — обезьяна, закрывающая себе глаза, обезьяна, затыкающая себе уши, обезьяна, закрывающая себе рот. В одном из залов этого дворца премьер-министр Индии пожимает руку президенту Пакистана.

11.

Слава богу! — Я глубоко вздохнул. Сейчас уже ничто не помешает мне умереть.

— В камере хранения твоего револьвера больше нет, — сказал Лайонелл. — Извини, что не спросил разрешения... И вообще, застрелиться — не самый оригинальный способ. Пофантазируй! Может, найдешь что-то

более подходящее для Великого Мортонa, которому суждено изменить течение всемирной истории.

— Оставь нас одних, — сказал Мефистофель.

— С удовольствием. Тем более, что у меня совершенно нет времени спасать самоубийц. Хватит забот с этим трогательным индийским миром. Чем я теперь заполню пять часов ежедневно?

Он ушел. А Мефистофель все еще медлил. Я уже тоже не торопился — раз полка камеры хранения пуста, можно немного задержаться на этой случайной станции, на безнадежной станции жизни, откуда отходит только один поезд — в никуда.

Но почему я решил, что он собирается раскрыть мне нечто важное, а не просто пользуется передышкой после изнурительной битвы за мое сиюминутное спасение?

— Вот, мой мальчик! Прочти, и ты поймешь, отчего не имеешь права умирать.

Уже несколько лет он носил все один и тот же пиджак. Его карманы были схожи с ящиками письменного стола: первый — только для деловых бумаг, второй для курева и зажигалки, третий еще для чего-то. Один из них, застегнутый на змейку, он никогда не открывал, по крайней мере, при мне. Теперь он вытащил оттуда сложенный вчетверо, стертый на сгибах, пожелтевший от времени квадратный лист.

Разделенный на секторы круг, в нем знаки Зодиака, вверху — дата моего рождения. Я с усмешкой заглянул в гороскоп. Все-таки интересно узнать за день до своих похорон, что тебе напророчили на ближайшие сорок лет.

«Непостоянен, недоволен собой и миром, мечется от одной крайности к другой. Способен быстро увлекаться женщинами и так же быстро остывать. Обостренное чувство совести, толкающее на решительные действия, которым, в свою очередь, противодействует слабая воля. Обладает аналитическим умом, но из-за внутренней противоречивости не умеет им воспользоваться. Циничен, что, однако, не предохраняет от вспышек сентиментальности. Очень талантлив, но, не находя применения своим способностям, склонен считать себя бездарным. Постоянно играет с мыслью о самоубийстве, хотя боится сделать решительный шаг».

Ну, что ж, этот отвратительный портрет малодушного бунтовщика, типичного представителя современной моло-

дежи, весьма смахивал на меня. Но любой, рожденный под тем же знаком Зодиака, мог вычитать в астрологической рубрике воскресного приложения ту же, примерно, более или менее точную характеристику.

«Во время противостояния Юпитера и Сатурна характер резко меняется. Все лучшие качества, мобилизованные при помощи колоссальной энергии и целеустремленности, начинают оказывать давление на окружающих и расходящимися волнами врываются в саму структуру эпохи. Встретит на своем пути человека такого же недюжинного склада, рожденного под знаком Скорпиона в первую фазу новолуния. Если не оттолкнет из-за крайней противоположности характеров, станет исторической вехой на пути человечества к созданию нового, основанного на разумных началах, сообщества».

Ну и загнул! Очутись этот горе астролог сейчас в моих руках, уж я бы показал ему «лучшие качества, мобилизованные при помощи огромной энергии и целеустремленности». Надеюсь, после этого он не смог бы сесть целую неделю.

— Что ты думаешь об этом, Трид? — чуть заискивающе спросил Мефистофель.

— Шарлатанство! Причем до того наглое, что переходит в житейскую философию. Считает всех людей болянами.

— Это в мой адрес? — Мефистофель улыбнулся и, сразу же расслабившись, закурил телемортоновскую сигарету. Первую с того момента, когда Васермута вызвали для дачи показаний. — А чем ты объяснишь, что этот шарлатан за несколько лет продал гороскопов на два с половиной миллиона?

— Той же человеческой глупостью. Умный прочтет и забудет. Дурак, узнав о предреченных ему талантах, настолько уверует, что убедит остальных дураков. А те в один голос: «Вот видите, звезды не врут!»

— Неплохое объяснение, но к твоему гороскопу оно не применимо... Первая часть предсказания уже сбылась. Рожденный под знаком Скорпиона — Лайонелл! На, возьми себе! — Он вложил в мою ладонь гороскоп. — И когда опять полезут в голову сумасбродные мысли, вспомни о будущем.

— Если вы считаете, что он мне так необходим, поло-

жите вместе со мной в гроб! — Я отдал ему гороскоп и направился к выходу.

— Трид! — Мефистофель заступил мне дорогу. — Пока что я взывал к твоему разуму, но если и это не помогает... Ты, должно быть, забыл, что, согласно завещанию, через четыре года и девять месяцев вступаешь в полное обладание капиталом. Можешь делать с ним все, что угодно! Клянусь, что не буду препятствовать.

Именно этого я страшился больше всего. Я, действительно, забыл, что опекунство Мефистофеля подходит к концу, забыл просто потому, что никогда не представлял себя наследником отца. Но я много и постоянно думал о том, что станет со мной, если все-таки доживу до этого часа. Немало перевидел я на своем веку людей, начинавших с благодетельных забот о сирых и обездоленных. А когда к ним приходили деньги, они становились заурядными живодерами, нередко умудряясь оставаться при этом восторженными гуманистами. Недалекие люди считают миллиард волшебной бутылкой, из которой вызывается сидящего в ней джина, а уж он сотворит для тебя все, что пожелаешь — великолепнейшие дворцы, прекраснейших женщин, преданных друзей. На деле получается иначе: из свободного человека ты становишься пленником своей волшебной бутылки, беспомощным джином, наглухо закупоренным железной пробкой дальнейшего стяжательства.

— Подумай, Трид! Ты получишь почти десять миллиардов! А лет через пять, если так продолжится, их будет уже двадцать. Представляешь ли ты себе, какая это власть? Достаточная, чтобы все сокрушить и построить заново — по своему усмотрению.

Я впервые понял, каким он видит путь человечества к основанному на разумных началах обществу — этот бунтарь, потрясавший вместо оружия ключом от сейфа! Он ненавидел сегодняшний мир не меньше меня, но между нами было существенное различие: я поставил на нем крест, а он надеялся его изменить. Чтобы властвовали не политики и лжефилософы, не бездари и случайные удачники, а помноженная на безграничное богатство сила таланта. Его вселенная была вселенной расширяющихся галактик, поглощающих на своем пути старые немощные светила, дающих толчок рождению новых, более ярких и смелых.

Он положил мне руку на плечо и, уже наполовину уверенный в победе, мягко сказал:

— Мир, построенный на доктрине Тридента Мортон — до этого стоило бы дожить! Он не будет ни прекрасным, ни идеальным — никому не дано превратить человека в ангела. Но, по крайней мере, я уверен в одном — в твоём мире Болдуин Мортон будет работать по своим способностям — обыкновенным сторожем на обыкновенном кладбище.

Он не знал, что затронул во мне самый болезненный рычажок. Я часто нажимал его в своём воображении — и результатом были такие кошмары, какие не снились ни одному наркоману. Мечтаешь о власти, чтобы образумить людей, чтобы сделать жизнь хоть чуточку сносной, и кончаешь обратным. Власть — могила самых лучших начинаний, это я уразумел для себя давным-давно.

Мефистофель почувствовал, что проиграл. И тогда он подкинул мне свой последний соблазн.

— Сдаюсь, Трид! Видно, твоему гороскопу не сбыться! А жаль! Никого в своей жизни я не любил, кроме тебя. Даже собственных сыновей. Один погиб в Арденнах, другой при испытании бомбы на Бикини. Будь они в состоянии говорить, наверно, сказали бы: «Гордись нами! Мы погибли за Америку!» Вот, какие у меня были сыновья! Наспех оструганные древки — к одному концу прикрепляют звезднополосатое знамя, а другим пользуются в качестве палки. А ты, Трид, ты иной, и потому не в силах выносить эту жизнь... Но ведь существует ещё один путь — средний!

— Средний между жизнью и смертью! — Я захохотал. — Значит, вы верите не только в астрологию, но и в магию? Насколько помню, даже самый отчаянный мистик не решался утверждать, что существует промежуточное состояние!

— Существует! — Мефистофель загадочно улыбнулся. — Анабиоз!

Мне было двадцать лет, когда я прочел в газете о калифорнийском профессоре с неизлечимой раковой опухолью, велевшем себя заморозить — в надежде, что будущее поколение сумеет оживить его и заодно излечить от рака. Я тогда удивлялся его мужеству, но ещё более тому — как это на фоне свойственного нашему времени безверия все ещё не переводятся безнадежные опти-

мисты. С тех пор про анабиоз писали часто и много. Изобретали все новые капсулы для хранения мороженой человечены, которые доверчивые чудаки предпочитали обычным гробам. Были проведены многообещающие опыты с многолетним охлаждением внутренних органов, их удавалось оживлять и даже пересаживать. Но анабиоз в целом по-прежнему оставался мечтой. Самым острым умам человечества, занятым более актуальной проблемой массового истребления, было не до него.

— Удивлен, Трид?! Разве ты не заметил, что в течение ряда лет мы вкладывали немалые деньги в герметические капсулы новой системы?

— Ну что из этого? Моему приятелю принадлежит фирма вроде Объединенного Пантеона, с той разницей, что гарантируется уход в течение ста лет не за могилами, а за морозильными контейнерами. Но сам он купил себе место на мортонском кладбище.

— Твой приятель просто жулик, — отмахнулся Мефистофель. — А нам попало в руки изобретение, которое способно перекроить всю человеческую психологию. Бегство из действительности — не в помешательство, не в смерть, а в новую жизнь!

— И многих вы таким способом уже переправили в двадцать первый век? — пошутил я.

— Ты будешь первым! — торжественно заявил Мефистофель.

Мы поехали в лабораторию на телемортонском броневике. Вместе с нами ехали два оператора, было тесно от аппаратуры и кассет с видеопленкой. Один из них все время пытался рассказать мне, как чуть не погиб во время чилийского землетрясения. О собаке, которой предстояло вернуться к жизни после долгого небытия, никто не говорил. Они привыкли снимать смерти, чье-то воскрешение представлялось им скучнейшим делом, интересным лишь для самого воскресшего.

Сначала нам демонстрировали фильм. Ньюфаундленд с толстой добродушной мордой выпрашивает подачку, гонится по двору за кошкой, примостив голову на передних лапах, видит собачьи сны. Изобретатель, сморщенный старичок в огромных очках, сидел рядом со мной. Он почему-то все время волновался, а я думал, как несправедливо устроен мир. От анабиоза ему никакой пользы, все равно таким же стариком родится заново,

изобрел бы лучше чудо-средство от морщин. Потом в фильме показали, как собаку замораживают, как пломбируют капсулу, а затем и дверь лаборатории, за которой ей предстояло проспать десять лет. Свидетели этого исторического события (среди них я узнал Мефистофеля, Лайонелла, моего двоюродного брата) подписали акт и, в последний раз заглянув в защищенное толстым непробиваемым силиконом окошко лаборатории, прямо с экрана спустились в просмотровый зал. Так мне по крайней мере показалось, когда зажегся свет. Все свидетели сидели в первом ряду. Все, кроме Болдуина.

Я нахмурил брови, Мефистофель, перехватив мой взгляд, отрицательно покачал головой:

— Можешь не волноваться, Трид. Лайонелл просто принял меры предосторожности. Твой двоюродный брат под домашним арестом.

— И он подчинился? — удивился я.

— Попробуй не подчиниться медицине! — довольно улыбнулся Лайонелл. — За сравнительно небольшие деньги наше величайшее светило по тропическим болезням констатировало, что его ездивший в Индию с небезызвестным тебе поручением доверенный слуга завез оттуда страшнейшую, почти неизлечимую инфекцию. Болдуин находится в карантине. И что самое важное, к нему никого не впускают. За его телефонными и видеонными разговорами следят, так что в течение трех месяцев ты в безопасности.

— Спасибо, Лайонелл. Но вряд ли я воспользуюсь этой отсрочкой.

Мы перебрасывались фразами через спины оттеснивших нас в противоположные углы репортеров. Их набилась целая туча. Для газет и остальных телекомпаний, не обладавших возможностями Телемортонa, это была первейшая сенсация. Они долго снимали — сначала запломбированную панцирную дверь, потом окошко, потом через окошко темное помещение лаборатории со смутно виднеющейся в глубине капсулой. Я тоже заглянул. В это время кто-то схватил меня за руку:

— Она воскреснет! — это был изобретатель. — В том возрасте, когда другие мечтают изобрести универсальную шпаргалку, я уже думал об этом. Три университета, биология, электроника, физика сверхнизких температур, строение клетки, сорок лет исследований — вся моя

жизнь потрачена на осуществление этой мечты... По правде говоря, я страшно волнуюсь, но об этом не пишите. Пусть читатели думают, что я ни минуты не сомневался в успехе... Да, совсем забыл, — вы из какой газеты?

— Я Тридент Мортон.

— Очень приятно. А меня зовут Мильтон Анбис. Звучит почти как анабиоз. Удивительное совпадение, не правда ли? — Он протянул мне руку, но тут же отдернул:

— Кажется, нас уже знакомили? Я даже вспоминаю кто! Господин Эрквуд! Так это вы Тридент Мортон? — Он уставился на меня сквозь огромные очки, снял их, снова оглядел слезящимися близорукими глазами, а потом даже ощупал дрожащими пальцами, словно не веря в мою телесность. Уж не сумасшедший ли? — подумал я. Умертвил собаку, обставил склеп нелепыми аппаратами, а теперь уверяет себя и других, что, покажи ей только кошку, и она сразу пустится вдогонку.

— Так это вы? — Он все еще не отпускал меня. — Вы, Тридент Мортон? Первый человек, который ляжет в анабиоз! Это самый великий час в моей жизни!

Значит, Мефистофель уже предложил меня в качестве следующего подопытного кролика. Но пока что я предпочитал более прозаический способ побега. Если я и дал себя заманить сюда, то из чистого любопытства. Не каждому удастся за несколько дней до прощания с жизнью увидеть собаку, которую, после десяти лет счастливого отсутствия, снова обрекли на ту же собачью жизнь.

— Пора открывать дверь! — Лайонелл взглянул на часы. — У меня сегодня еще масса дел.

Мильтон Анбис засуетился. Щелкнули кусачки, свинцовые пломбы рассыпались по полу и тут же исчезли в карманах суеверных на современный лад репортеров, повидимому считавших, что пломба от анабиозированной собаки принесет не меньше счастья, чем подкова от неанабиозированной лошади.

— Господина Ноа Эрквуда к телефону! — раздался чей-то подобострастный голос.

Пока он разговаривал, операторы и газетчики шумной ватагой ввалились в лабораторию. Я не торопился, успею наглядеться на четвероное чудо. Уж я-то знаю, какая мысль отразится на его добродушной собачьей

морде, когда на него, полумертвого, набросится двуногая волчья стая. Бедняга отчаянно завоет, а газеты будут расписывать захлебывающийся радостный лай, которым ньюфаундленд приветствовал жизнь.

— Отлично! — отойдя от телефона, Мефистофель мечтательно поднял не замеченную никем пломбу.

— На счастье? — спросил я с издевкой.

— На память о еще одной победе.

— Жизни над смертью? — я все еще злился на него за заботу о моем скорейшем усыплении. — Еще ничего не известно. Может быть, ваши денежки вложены в жалкий трупик? Хотя с телемортоновской точки зрения мертвый пес даже привлекательнее живого.

— Злишься, Трид? Это хорошо. Значит, опять вошел во вкус жизни. Жить и злиться — почти одно и то же. А праздную я первый побочный результат сегодняшней битвы. Ассоциация кинопрокатчиков только что подписала соглашение. Мы предоставляем им по полчаса старых видеопленок на каждый сеанс, за это получаем треть кассового сбора и решающий голос в выборе фильмов. Ты понимаешь, что это значит, Трид? Вся американская промышленность находится сейчас в зависимости от нас!

Когда мы протиснулись в лабораторию, я услышал возгласы:

— Врача! Скорее врача!

Репортеры, склонившись над чем-то, орудовали фотоаппаратами и кинокамерами. Видно, совсем очумели! Вызвать ветеринара была бы куда разумнее. Бедная собачка! Подыхает, должно быть.

Нас пропустили. Вместо собаки я увидел лежащего на капсуле изобретателя. Кто-то, за неимением воды, брызгал ему в лицо бренди из карманной фляжки.

— Сердечный приступ. От волнения, — Лайонелл вопросительно посмотрел на Мефистофеля. — Придется, по-видимому, отложить.

— Если вы позволите, я сделаю все за профессора, — предложил один из ассистентов Анбиса. Изобретатель с трудом открыл глаза.

— Нет, нет, я сам! Просто маленькая слабость. Десять лет ожидания — это хуже тюрьмы. Так и напишите в газетах!

— Как вы себя чувствуете, профессор? — резко оборвал его Лайонелл. — Если лучше, то давайте начинать.

— Сейчас, сейчас! — Милтон Анбис порывисто встал на ноги. Включая и переключая непонятные мне приборы, он обеими руками вцепился в рукоятки, чтобы не упасть. Заметив меня, зашептал слабым голосом:

— Сердечные таблетки! Скорее! Они у меня в левом кармане! Суньте мне в рот! Спасибо, Мортон!

Я вышел. Было тяжело смотреть, как человек, рискуя свалиться замертво, последним нечеловеческим усилием рвет финишную ленту пятидесятилетнего марафона. Тяжело и полезно. Пожизненное мученичество ради мечты мало что изменяет: скептики остаются скептиками, циники — циниками. Но хотя бы во мне ему удалось зажечь слабую искорку надежды. Может быть, жизнь все-таки стоит того, чтобы еще раз попытаться? Уйти — легко, вернуться снова — невозможно. А анабиоз?

Я совсем забыл про собаку. Только когда из лаборатории донеслись возгласы безграничного удивления, понял — свершилось! Кто-то уже выбегал, чтобы прямо с машинки отправить в набор величайшую научную сенсацию двадцатого века. Лаборатория напоминала сумасшедший дом. Одни орали в транзисторные передатчики, другие тыкали микрофоны прямо в рот ассистентам, третьи запечатляли прислонившегося к капсуле изобретателя. Слезы счастья застилали ему очки, он ничего не видел, только хватался за сердце и плакал. А сама виновница торжества глядела на мир осоловелыми собачьими глазами.

— Она зашевелила хвостом! — восторженно закричал один из ассистентов.

— Рекс, Рекс, спасибо тебе! — забормотал профессор. Одной рукой он обнимал собаку, другой нашаривал в кармане таблетку. — Ты не предал меня! Ты сделал все, что смог. Десятки лет люди считали меня сумасшедшим. Встань, покажи им, что анабиоз возможен!

Ньюфаундленд, казалось, понял, о чем его просит хозяин. Он пытался встать, но отказали отвыкшие от движений лапы. Жалобно скуля, он упал обратно в капсулу.

12.

Домой мы ехали в личном броневике Мефистофеля. Улиц я не видел. Обзорный видеон находился рядом с водителем. Мы сидели сзади. У нас был только телемор-

тоновский экран, а он давал довольно однобокое представление о том, что творится на свете. Мне хотелось видеть лица раскупающих газеты людей, понять, что они ожидают от анабиоза.

— Будь уверен, завтра же к Мильтону Анбису запишутся несколько тысяч. — Мефистофель угадал мои мысли. — А ведь риск был огромный — вложить около пятидесяти миллионов и получить взамен дохлого пса... Я ведь тогда еще не предполагал, что это будет для тебя...

— Между собакой и человеком существует некоторая разница, — заметил я с иронией.

— В принципе установка пригодна для всех высокоорганизованных животных. Конечно, потребуются огромные дополнительные затраты. Вот почему ты на долгое время, вероятно, будешь единственным.

— Уступаю свое место другому, — я отвернулся от экрана, где показывали испытания новой противоракетной системы. — Проснуться в грядущем, где все будет то же самое, что сейчас, только на высшем техническом уровне? Благодарю покорно! — отрезал я, все еще вспоминая ньюфаундленда. Я с удивлением почувствовал, что он мне не безразличен. Мне хотелось знать, каким ему покажется на вкус первый глоток воды, первая кость, какими глазами он посмотрит на первую после стольких лет встречную собаку. Именно это тревожило меня. Неужели гороскоп прав в отношении моего характера? Твердое решение, которому противодействует слабая воля; толкающее на самоубийство отвращение к жизни, которое грозит свести на нет крошечный, заново обретенный интерес к ней?

— Совершенно согласен с тобой, — Мефистофель взглянул на часы. — Но мир может измениться. Вместо Телемортон — Гравимортон. Как тебе нравится это название? Я сам его придумал.

— Для новых сигарет? — сострил я.

— Пока что для секретной лаборатории в невадской пустыне, — он сказал это шепотом, видимо, не хотел чтобы слышал водитель. — Пока что! — повторил он с ударением. — А когда-нибудь это станет таким же понятием, как ньютоновы законы или теория относительности.

У меня пропала охота шутить. Слишком заметным

было скрытое торжество в его внезапно помолодевших глазах.

— Приехали, господин Эрквуд! — оповестил нас водитель.

Я вылез, уже готовый ступить на крыльцо отцовского дома. Он был построен еще в прошлом веке, модернизация не коснулась наружных стен, даже ступеньки крыльца оставались деревянными, вероятно, поэтому их облюбовали соседские кошки — к синтетическим материалам они относились недоверчиво. Я опустил занесенную ногу, она стукнулась о бетон, и только тогда я увидел, что мы находимся на частном мортоновском аэродроме. Нью-Йорк сливался с горизонтом, вулканическим извержением он поднимался к небу, из черного смога выглядывали лишь самые высокие небоскребы — железобетонные надгробия погибшей под пеплом времени железобетонной Помпеи.

Здесь, на взлетной полосе, воздух был почти сносен. Еще более прозрачным показался он мне в Батл-Маунтене, куда мы долетели за час на скоростном телемортонском самолете. Здесь мы пересели на вертолет. А когда он снизился, кругом была бескрайняя пустыня. В своих городских костюмах мы на фоне песков и редких кактусов казались фантастическими марсианами. Шныряли ящерицы, ползали какие-то невиданные зверьки, некоторые подходили совсем близко и с изумлением оглядывали нас.

— Им не так уж часто представляется возможность полюбоваться на вершину эволюции, — засмеялся Мефистофель. — На сто миль кругом ни души. Все необходимое для лаборатории и персонала доставляется раз в месяц, и то по ночам.

Вертолет улетел. Мефистофель вынул из жилетного кармана старые дедовские часы, нажал кнопку и сказал несколько слов. Я засмеялся — очень уж он походил на шпиона из последнего телемортонского фильма, которому некое государство поручает выкрасть у соседнего государства наисекретнейшие материалы, а когда совершивший героические подвиги агент доставляет их главе некоего государства, оказывается, что это их собственные выкраденные соседним государством секреты.

— Приверженность к старым традициям? — спросил

я, разглядывая серебряную, почерневшую от времени семейную реликвию.

— Не совсем! — Он нажал пружину, обе крышки отскочили. С одной стороны был микропередатчик, с другой — действительно часы. Секундная стрелка совершила несколько оборотов, из темного отверстия в полужасыпанной песками скале, которое я принял за вход в естественную пещеру, выскочил хамелеон. По его пятам выкатил «джип». Не успевший убежать хамелеон замер на месте и мгновенно принял зеленую окраску автомашины.

Когда въехали на «джипе» в тоннель, я оглянулся, ища взглядом ящерицу. На желтом фоне пустыни, почти сливаясь с ним, виднелся продолговатый желтый камень.

— Завидую ему, — сказал я.

— Понимаю тебя, Трид. Умение приспособиться к окружающему миру — ценное свойство. Но еще лучше — приспособить мир к себе. Ты это сумеешь, мой мальчик, я твердо убежден. Анабиоз — именно то, что тебе необходимо. Он поможет тебе забыть старое, а без этого невозможно по-новому мыслить.

Мы ехали долго — сначала по освещенному фарами естественному тоннелю, который уперся в стальные колоссальной толщины ворота. Здесь нас в первый раз проверяли. Потом была подземная бетонированная дорога с искусственным светом, вторые ворота, третьи... каждый раз нас заново проверяли, и когда мы, наконец добрались до самой лаборатории, мне уже не хотелось никаких чудес. Чудо прекрасно, когда оно доступно всем, кто желает его видеть. Тут оно было секретным. Я понимал, что в наше время, когда мелкота ворует бумажники, а большие люди — идеи, иначе нельзя. Но когда меня познакомили с учеными, обязанными, согласно контракту, прожить здесь десять лет, не видя божьего света, мне стало жаль и их, и само изобретение. Не самое удачное начало для первого ростка грядущего мира.

А ведь эти ученые не были отрешенными от всего, кроме своего научного конька, стариками вроде Мильтона Анбиса. Среди них была лишь одна молодая привлекательная женщина, девушка почти.

— Вам тут не скучно? — банальная фраза, но не стану же я объяснять, что радостнее было бы видеть ее

где угодно, пусть даже в публичном доме, только не в этой подземной тюрьме.

— Привыкла. И потом — мы смотрим не только обычные телемортоновские передачи, по нашему желанию нам показывают старые видеопленки... Вас я тоже частенько видела на экране, господин Мортон. Никогда не думала, что встречу с вами наяву.

Куда бы я ни приходил, где бы ни находился — я был Тридентом Мортонем. Миллиардами, а не человеком. А лет через десять, если соглашусь погрузиться в анабиозный сон, эти миллиарды удесятятся. Я буду удесатеренным Тридентом Мортонем, и пропорционально этому уменьшусь как человек. Стоит ли ради этого переноситься в будущее?..

Зал, в который мы вошли, был очень высоким, но не большим. Металлические стены, металлическая галерея с тянущимися до самого потолка приборными досками. Почти всю площадь занимал тяжелый металлический диск диаметром в двадцать футов. Главный конструктор взобрался по винтовой лестнице на галерею. Загудели невидимые машины, налились разноцветным огнем выглядывавшие из панелей сигнальные глазки.

— Можно? — спросил сверху главный конструктор.

— Пожалуйста! — Мефистофель отошел от диска, а инстинктивно последовал его примеру. Тишина. Потом я услышал самый обыкновенный звук — конструктор нажимал кнопку. Тяжелый диск, словно обретя крылья, медленно поплыл вверх и застыл у самого потолка.

Девушка, взяв меня за руку, повела под свободно парящий над головой металлический купол. Я невольно замедлил шаг, боясь наткнуться на преграду. Но под ним не было ничего, кроме вибрирующего чуть тепловатого воздуха.

Потом мне объясняли что-то про магнитно-гравитонные волны, а я думал о том, что ошибался во многом, а может быть, и во всем. Мир может стать иным! Я представил себе хотя бы ту же самую Индию, Индию вчерашнего дня, но уже с общедоступными гравитонными аппаратами-крыльями. Вот с неба спускается десант, спускается, чтобы обогреть кровью воды священного Ганга, но он уже никому не страшен. Десятки тысяч паломников, даже самые немощные калеки, поднимаются в небо, улетают от опасности...

Горящие танки врываются на рыночную площадь, но на ней уже никого нет, все улетели... Дивизия идет в наступление, но противник перелетает через нее — не существует больше линии фронта, наступления и контрнаступления становятся бессмыслицей. Кое-что из своих мечтаний (возможно, под влиянием шампанского) я высказал вслух.

Мефистофель засмеялся:

— Совсем неплохо, если вспомнить, как профессор Холлин вначале представлял себе практическое применение своего открытия, — он похлопал главного конструктора по плечу. — А ведь он не простой ученый, даже не простой гений... когда-нибудь человечество упомянет его рядом с Эйнштейном... Помните, Артур, как вы пришли ко мне со своим первым проектом?

— Еще бы, — главный конструктор сконфуженно улыбнулся. — Домашняя хозяйка, за которой несутся вслед на грави-крыльях сделанные ею тяжелые покупки. Я ведь тогда думал только об одном — как облегчить людям жизнь... Великое вторглось само собой... Не будь Стеллы, я бы, вероятно, так и сошел в могилу, не поняв, что открыл.

Он благодарно посмотрел на сидевшую рядом со мной девушку.

— Ну нет, — Мефистофель покачал головой. — За это вы, в первую очередь, должны сказать спасибо Лайонеллу Марру. Это он ее искал, как звезду в огромной туманности, это он ее откопал, одну-единственную среди тысяч и тысяч, способную пробить потолок современного научного мышления. И то — специальная психологическая подготовка, специальный гипноз. Почти на полгода ей пришлось забыть все прежние знания... Только тогда она приобрела способность совершить невероятнейший прыжок от парящего диска к тому, что, надеюсь, когда-то будет называться Грави-Мортоном.

— Не понял, — сказал я. — Стелла, может быть вы сами объясните, что там изобрели?

— Стены! Магнитно-гравитонные защитные стены. Формула закона уже выведена, но напрасно так восторгается господин Эрквуд — до реализации еще очень далеко.

— Гравитонные стены? — переспросил я с удивлением. — Вокруг дома?..

— И такое не исключается, если кому-нибудь захочется... Но их можно воздвигнуть вокруг страны, континента, хотя бы всей планеты. Причем такие прочные, что их не пробить ни глобальной ракетой, ни ядерным взрывом.

И тогда лишь я осознал, что мое видение, в котором население целого города спаслось от бомбежки при помощи гравиаппаратов, находилось на том же мыслительном уровне, что и крылатые авоськи главного конструктора. Мир без войн, без их разъедающей щелочи, без орудий убийств, которые даже в мирное время уродуют душу, навязывая любым человеческим отношениям философию насилия, — в таком мире стоило жить. Даже мне, Триденту Мортону! Ибо тогда мои десять, а может быть, к тому времени уже сто миллиардов, можно будет раздать всем людям, не боясь, что они перегрызут друг другу горло.

В эту минуту я бесповоротно решил: анабиоз!

13.

А через неделю, раскрыв вечерний выпуск «Нью-Йорк Дейли Ньюс Таймс Геральд Трибюн», я увидел обведенную траурной рамкой первую полосу, а на ней только два слова:

Рекс скончался!

На второй странице научный комментатор рассказывал, почему это произошло. Атрофированный за десятилетие мозг собаки больше не был в состоянии передавать функциональные команды моторным системам. Слабо действовали сердце и печень, не говоря уж о том, что Рекс совершенно разучился есть, пить, двигать лапами. Была сделана попытка искусственного питания, но и это не помогло: не получая команд от соответствующего центра в мозгу, бездействовал желудочно-пищеварительный тракт. Под статьей была фотография Рекса в памятный мне момент, когда он пробовал встать, но так и не смог. А ниже — другая статья, автором которой являлся всемирно известный русский специалист по мозговым биотокам. Первый шоковый момент

пробуждения — объяснял он этот феномен — сопровождался короткой вспышкой, когда мозг пытался восстановить систему обоюдных связей. Но ему, к сожалению, не удалось. В сущности, Рекс уже минуту спустя перестал функционировать как живой организм.

Слава богу, на этом научная терминология кончилась. Дальше шли, совсем как при кончине знаменитых кинозвезд, воспоминания очевидцев о личной жизни Рекса — какие блюда он больше всего любил, с кем из дворовых собак дружил, да еще трогательная история, как Милтон Анбис нашел однажды крошечного, брошенного хозяевами щенка у порога своей тогда еще маленькой частной лаборатории и тут же воскликнул: «С помощью этой собаки я докажу, что анабиоз возможен!» Все это, с соответствующими фотографиями, занимало еще четыре страницы и кончалось прочувственным некрологом: Всеамериканского общества защиты животных.

Бедный Рекс! — подумал я. — Отдать свою собачью жизнь, и за что? Чтобы человек, спасаясь от результата содеянных им же гадостей, имел возможность уйти в будущее и продолжать там гадить.

Бедный Трид!

Отдав должное своим собратьям, я, как всякий эгоист, тут же подумал о себе. Вот и захлопнулась последняя лазейка, Трид. А сейчас одно из двух. Или признавайся, что ты жалкий трус, недостойный плюнуть даже самому себе в рожу. Признайся и примиришься с жизнью — раз ты такой, значит, не так уж страшно пробарахтаться в грязи и тине еще годков тридцать.

Или же — иди и застрелись, как обещал себе и всему миру.

С этим намерением я вышел из дому. С тех пор, как Болдуин находился в карантине, меня охраняли почему-то с меньшей бдительностью. Почти без труда мне удалось оторваться от телохранителей. Манхэттенский супермаркет на стыке Пятой авеню и Вашингтон-сквера (это растянувшееся на полтора квартала хранище торговли принадлежало одной из подставных мортоновских фирм) я выбрал по двум причинам. Во-первых, короче путь, а я очень торопился. Боялся, что если это не произойдет в течение ближайших часов, на полпути между мной и небытием снова вырастет Мефистофель с новой приманкой, с новым видением будущего, до которого мне

все равно не дожить. Во-вторых, калибр и система были мне совершенно безразличны, а в оружейном отделе универмага, заботившегося обо всех без исключения нуждах покупателей, всегда что-то подходящее имелось в ассортименте. За пистолет я расплатился чеком — сейчас уже не было необходимости скрывать от Мефистофеля, на что потрачены эти тридцать четыре доллара.

Оттуда я напрямик направился в Центральный парк, пожалуй, впервые в жизни пешком. Было уже совсем темно. Водопады неоновых светов водянными брызгами пробивались сквозь завесу смога, Нью-Йорк натужно гудел. Казалось, огромный хамелеон не то приспосабливается к грязно-черному дыханию окружающего мира, не то, тщетно стараясь пробиться сквозь дым и туман, наливается от злобы электрической кровью. И все же город был прекрасен. Я это всегда знал. Прогулка пешком являлась не последней причудой, а последним прощанием.

По подземному тоннелю я перешел с Пятой авеню прямо в парк и сразу же нырнул в густую, осязаемую тьму. Уже лет десять, наверное, его ночью не посещал никто, кроме грабителей и самоубийц, поэтому муниципалитет решил не тратить больше на освещение.

Шелестели листья, где-то ухала сова, падали с деревьев то ли ветки, то ли заклеванные ею пичуги, и все-таки мне чудилось, что такой безграничной тишины я еще никогда не ощущал. После кипящей Пятой авеню этот лишенный света и людских голосов парк казался мертвой зоной, отделяющей жизнь от вечного покоя.

А потом я услышал тихие шаги. Кто-то остановился почти рядом со мной. Видеть он меня не мог, темнота была всеобъемлющей. Ну и черт с ним! — подумал я. — Хотя кто-нибудь зафиксирует исторический момент, когда Спаситель Человечества, Великий Тридент Мортон докажет одной-единственной пулей, что астрология такая же чепуха, как все остальное.

Стараясь не шелохнуться, я поднял голову. Мешать он мне не стал бы, но все равно неприятно услышать под занавес банальную фразу, будь-то: «Дайте прикурить!» или «Отдайте бумажник, да поживей!». Он по-прежнему не замечал меня, а я прощался со звездами. Их было всего несколько, остальные прятались за смогом. «Прощайте, звезды! — сказал я мысленно. — Вы единствен-

ные взирали на меня, как на человека... Какое это все-таки странное чувство — последний раз глядеть на небо». А потом я вспомнил, что человек, даже если пуля угодила куда следует, умирает лишь через несколько секунд. Я упаду навзничь, и небо опрокинется надо мной, и только тогда я увижу его в последний раз.

С полминуты я стоял неподвижно, совершенно отказавшись от всего, что было, и всего, что могло быть, но, к сожалению, не было. А когда вернулся в этот мир, чтобы через мгновение покинуть его, услышал рядом порывистое старческое дыхание и всем телом почувствовал, как чьи-то слабые пальцы пытаются отвести предохранитель.

Рядом со мной стоял другой самоубийца, и я, совершенно забыв, что не мне пристало кого-нибудь спасать, инстинктивным движением выбил у него из руки пистолет.

— Ну зачем вы это сделали, зачем? — я узнал голос. Это был хозяин Рекса. — Вся моя жизнь пошла на смарку, вся без остатка. Дайте мне умереть, если вы человек.

— Человек? — я рассмеялся. — Я Тридент Мортон: вот кто я такой.

А потом мы до утра сидели в каком-то замызганном портовом кабачке, хозяин давно хотел закрывать, но я заткнул ему рот тысячедолларовой бумажкой, мы пили какую-то дрянь, еще хуже той, которой меня потчевал хозяин стамбульской шербетной, и старик, пьянея все больше и больше, доказывал мне, что с ним все кончено.

— А почему, Тридент? Только потому, что Рекс умер. Я всегда боялся этого, но не решался никому признаться — ни господину Эрквуду, он немедленно вышвырнул бы меня вместе с собакой, ни даже самому себе... Но все эти годы я проверял, вычислял, штудировал снова и снова, пока не добился своего. Нужны деньги, новые деньги, колоссальные деньги. Это должна быть целая электронная система, ежеминутно наблюдающая за спящим организмом... Чтобы доказать, я готов сам погрузиться в анабиоз. Но знаете, что мне сказал сегодня господин Эрквуд? «Вам все равно скоро подышать, так что это не доказательство...» И так скажут все после того, как умер Рекс. Я один знаю, что сейчас это уже не

риск... Дайте мне двадцать миллионов на новую экспериментальную установку, и я берусь воскресить кого угодно...

Он пил еще и еще, он почти бредил. Но я был трезв. Впервые в жизни я почти не прикоснулся к рюмке, я чувствовал необыкновенное прозрение в эту страшную ночь на берегу Гудзона, в грязном, пустом трактире, где беседовали двое самоубийц.

Я ему поверил.

— Что такое, Трид? — спросил Мефистофель, когда я утром пришел к нему.

— Мне нужны двадцать миллионов, — я объяснил для чего.

— Неужели ты не видишь, что это бредни сумасшедшего! — он выплюнул сигарету. — Умереть ни за что ни про что? Разве я подозревал, чем это кончится, когда предлагал тебе анабиоз?.. Никогда, никогда, теперь я твердо убежден, людям не совершить такого чуда. Хотя бы потому, что это противоречит высшей справедливости — человек не имеет права убежать из ада, который он сам сотворил.

— Но я все-таки имею!

— Кто тебе его дал, мой мальчик?

— Гороскоп. Если я должен осуществить предсказание, то надо еще дожить до противостояния Юпитера и Сатурна, — смеясь ему прямо в глаза, я вынул из кармана пистолет. — А эта вот игрушка вчера в ноль тридцать уже почти выполнила свое назначение. Раз мне все равно не жить, предпочитаю умереть в анабиозе. Хотя бы для того, что Мильтона Анбиса не покинула надежда. В наше безнадежное время надежда, пусть одного маленького человека, такое великое дело, что ради него стоит умереть... И кроме того, я верю в изобретение.

Мефистофель, будучи человеком умным, не стал возражать. Он нажал настольные кнопки, секретари входили один за другим со сметами, проектами, отчетами. И из всего этого нагромождения астрономических цифр явствовало, что в ближайшем будущем нет никакой возможности вырвать у работающей на полном ходу денежной машины нужные мне двадцать миллионов.

Большая половина капиталовложений шла на супермозг нового типа. С первой электронно-вычислительной машиной срачивалась вторая, третья, и так без конца,

и все они в момент подключения мгновенно усваивали знания, собранные в течение месяца, года, века предшествующими звеньями, чтобы уже сообщая обрабатывать новую информацию.

— Первые две уже существуют! — Мефистофель весь просветлел. — Круглосуточно читают газеты, книги, микропленки, слушают радио, смотрят все фильмы и телепередачи, прямо с бирж всех континентов им по теле Taipу передают курсы акций, Лайонеллу удалось подкупить директора ЦРУ, он будет доставлять все секретные сводки... Ты представляешь себе, Трид, во что это вырастет со временем? Анализ и прогнозирование всех мировых событий! А через полвека — крах политики! Никаких невежд, мнящих, что они мудрецы. Всех заменил величайший мыслитель, объективный, неподкупный, безошибочный!

Опять новая приманка, так я и думал. Но я отшвырнул ее, и тогда Мефистофель сдался. Не как человек, а как характер. Всегда предельно откровенный со мной, когда дело касалось самого для него важного, он впервые в жизни предал себя, — стал хитрить.

— Подожди немного, Трид! Пока мы только покрываем то, что долгие годы вкладывали в Телемортон. Но в недалеком будущем он начнет приносить настоящие прибыли. По новой расценке минута рекламы стоит десять тысяч, за год накопится нужная сумма. Вот тогда и приходи. Если ты к этому времени еще не раздумаешь. Заплатить двадцать миллионов за товар, который можно получить за бесценок в любой аптеке или оружейной лавке? — он пожал плечами. — Все это похоже на тебя, мой мальчик. Ты безумец, и именно поэтому сумеешь вывернуть наизнанку этот безумный мир.

К счастью, он не заметил моей улыбки. Мефистофелю казалось, что он надул меня, но я уже знал, как заработать необходимые средства. Одна из бумаг, которой секретари устлали письменный стол, содержала проект соглашения с тремя крупнейшими телекомпаниями, оставшимися пока в живых после кончины более мелких. Они сливались в «Телевизионную систему Америки», чтобы на значительную часть объединенного капитала и дополнительные кредиты купить у Телемортонa право ретранслировать шестую часть нашей программы в течение двадцати лет. Акции нового объедине-

ния уже были зарегистрированы на бирже, но котировались ниже минимального курса — никто еще не знал о соглашении.

Я сделал то, чего никогда до этого не делал, — стал биржевиком. Мой отец начинал с биржи, именно там его встретил Мефистофель, чтобы поднять из мрака неизвестности к ослепительному свету мортоновского небосвода. Это было фактом, но никакого отношения не имело к человеку Мортон-старшему. До конца своих дней мой отец, упрямо и безрассудно, оставался для окружающего мира в прежнем мраке. И когда я сам нырнул в этот уже не просто сумасшедший дом, а такой, где врачей не отличить от пациентов, мне стало понятно, почему он, прибегая и к деньгам, и к угрозам, категорически запрещал газетам упоминать свое имя. Бессовестный делец, он, по-видимому, еще сохранил нечто вроде чисто человеческой совести, или скажем лучше — стыда. Не хотелось ему, видимо, оставлять свое имя в анналах эпохи, где мегатонные бомбы проходят сначала испытание на прибыль, и только потом — на мощность.

Я играл на повышении акций «Телеамерики» — как только широкой публике станет известно о соглашении с Телемортонем, они должны были значительно подскочить в цене. Уже подсчитывая в уме заработанные миллионы, я каждое утро, перед тем как отправиться к маклеру, заглядывал в газеты. Прошла уже вторая неделя, а о соглашении — ни слова.

Я жил теперь в бывших апартаментах отца. Не то, чтобы мне было страшно засыпать в спальне, где я в тот последний день обнимал Тору. Скорее я внутренне осознал, что, пытаясь все время уйти подальше от всего, чем жил отец, пришел к тому же. Даже уйти из этого мира невозможно, пока не приспособишься к нему.

Установленный над старой отцовской кроватью видеон вспыхнул. Он был соединен с входными дверями, на старых деревянных ступеньках, где так любили нежиться кошки, стоял Лайонелл Марр. Я нажал кнопку, дверь автоматически открылась, впуская его, прошумел лифт, а затем без всякого перехода, без шагов в гулком коридоре, без скрипа дверной ручки Лайонелл уже стоял в комнате. Он вошел так же неслышно, как тогда в мое казавшееся неприступным лесное убежище.

— Вот что, Трид, — сказал он без предисловий. — Ты

хочешь уйти в анабиоз? Уходи. Я думаю, куда лучше, если ты не будешь стоять на моем пути. В гороскопы я не верю, а дожидаться, пока ты наконец застрелишься, у меня нет желания. Вот чек — не на двадцать, а на пятьдесят миллионов. И пусть за эти денежки старый чудак заморозит тебя не на двадцать лет, а на пятьдесят. К тому времени ты уже не сумеешь мне помешать — моя пирамида будет построена... А со своим маклером расплатись, пока не поздно. Хочешь знать, кто толкнул телекомпания сначала на открытое сражение, а потом на объединение? Я! Это я подкинул им идею с сенатской подкомиссией, а когда они после нашей победы уже почти валились с ног, окончательно заманил в капкан обещанием подкармливать нашими передачами! Сегодня я расторгну предварительное соглашение, завтра они вылетят в трубу, а послезавтра вся Америка будет иметь лишь одну программу — мою, телемортоновскую! Точно таким же двойным ударом я в свое время раздавил «Универсальный Пантеон»... Вот так, Трид! А если тебе омерзительно смотреть, как один хищник пожирает другого, ну что ж, беги из наших джунглей в свою капсулу! Засыпай, но помни — когда проснешься, мир будет еще страшнее! Это я тебе обещаю, я — Лайонелл Марр!

Кем он был? Беспощадным гением? Адским пророком? Сейчас это меня уже не касается... Сейчас меня ничего больше не касается... С жизнью я простился, красная кнопка уже сработала, анабиозная установка уже приняла сигнал «Готовиться к замораживанию», ее электронно-контрольный мозг уже наблюдает за мной. Лежа в пока еще открытой капсуле, я чувствую слабые токи, идущие от сложнейшей аппаратуры к присоскам на моем теле.

Мильтон Анбис уже выплакался, сейчас он что-то бесвязно шепчет, указывая дрожащей рукой на прикрепленный к внутренней стенке капсулы циферблат. Но я не слышу его, я слушаю ровное дыхание своего огромного дома. Он вырублен в толще базальтовой породы, глубоко под пустыней.

Никому, кроме нас двоих, да еще Лайонелла, не известно, где я нахожусь. А Мефистофель даже не подозревает, что я все-таки решился.

Подземное убежище с анабиозной установкой, электронным мозгом, атомной электростанцией, ангаром для вертолета, подъемником, складом продовольствия строили завербованные Лайонеллом индейцы из Гватемалы. Будь в этом необходимость, Лайонелл наверняка вырезал бы им язык, чтобы сохранить тайну. Но они и так ничего не могли рассказать. Их доставили и отправили обратно на управляемых роботопилотах вертолетах, индейцы даже не знали, в каком месте и для чего работают.

Предосторожности необходимы из-за Болдуина. Пока он жив, моему бездыханному телу грозит опасность быть уничтоженным. На Анбиса я могу положиться — человек, отдавший всю свою жизнь на осуществление такой небывалой мечты, не предаст ее за жалкую кучу денег. А Лайонелл будет молчать, в этом я почему-то в тысячу раз более уверен, чем в своем грядущем воскрешении.

К тихому шуму запрятанных глубоко внутри реле прибавился новый звук — звон колокольчика. Его мелодичный звон начинает отсчитывать секунды. Триста ударов — и капсула автоматически закроется.

— Осталось пять минут, — Милтон Анбис снова заплакал. — Прощай, Тридент!.. Я уже не увижу своими глазами, как ты выйдешь прямо из небытия на горячий песок пустыни и каждой клеточкой почувствуешь, что живешь... Но все равно... Это будет великий день! И если существует тот свет, то я пойду к господу богу и скажу ему: «Спасибо, что дал мне жизнь! Она прожита не напрасно!»

Я уже включил аппарат гипносна. Анбис предложил другой, мгновенный способ усыпления, но я настоял на своем. Хоть самую малую из старых привычек хотелось взять с собой в пятиминутную дорогу, которая вела неизвестно куда.

«Воскресну ли? — думал я вяло, прислушиваясь к проникавшему в подсознание чарующему полуслепоту. — А если воскресну, то в каком мире? Успеют ли гравитонные волны унести с планеты страха сегодняшнего дня, или всеобщая катастрофа уничтожит гениальное открытие еще в пленках?» Скорее всего мое любопытство останется неудовлетворенным. Победит не горячая вера Мильтона Анбиса, а скептицизм Мефистофеля. Скорее всего то, что начнется через несколько минут,

окажется на поверку самым оригинальным и дорогостоящим способом уйти в мир иной. Может быть, поэтому я так настаивал на гипноаппаратуре. Если уж умирать, то в моем райском саду.

Обычно он появлялся почти мгновенно. Сейчас ему что-то мешало — последние звуки, связывавшие меня с жизнью. Сквозь дрему я слышал, как пошел вверх подъемник, как чуть спустя за Анбисом автоматически закрылся входной люк. Я знал, что люк немедленно засыплет — через полчаса зыбучая пустыня уничтожит все следы вторжения...

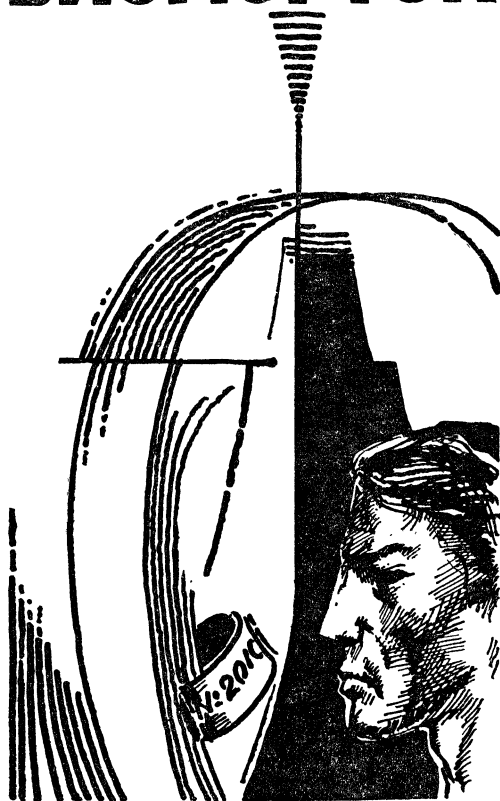
Тишина. Я был в моем райском саду. Тора! — крикнул я. Она вышла из-за Древа Познания, протягивая мне сорванное яблоко. До сих пор мы еще не знали, что такое добро, поэтому не научились злу, вся история человечества простиралась перед нами чистой страницей. Но яблоко прогресса уже было сорвано, а вместе с ним и фиговый листок цивилизации, которым так легко прикрыть содеянное. Пройдут тысячи веков, яблоко упадет к ногам Ньютона и станет законом всемирного тяготения, пройдут еще несколько веков — и оно упадет на Хиросиму. Мне стало страшно.

И тут я услышал шорох бесчисленных песчинок. Сначала они засыпали Тору, потом райский сад, кругом была пустыня, затем и она исчезла...

Меня уже не было.

КНИГА ВТОРАЯ

БИОМОРТОН





1.

Я приоткрыл глаза. Надо мной наклонился большой лиловый зрачок. Кроме зрачка, не было ничего. Ни глазного яблока, ни века, ни лица, ни головы, ни тела. Живой мрак пристально всматривался в меня своим единственным лиловым глазом.

Так вот каким выглядит загробный мир! Зрачок переливался внутренним свечением. Может быть, Творец таким образом выражал свои эмоции? Но ничего, кроме пристального любопытства, я не заметил. И тогда я понял! Это вовсе не боженька из Библии, а Великий Экспериментатор, существование которого предсказал Джон Крауфорд.

Ну что ж, для него вполне естественно — выловил из питательной среды одного из триллионов созданных в процессе эксперимента микробов, отделил душу от тела и теперь разглядывает ее под микроскопом.

Так прошла целая вечность. Потом в этом изначальном мире что-то изменилось. Зрачок удалился. Сквозь мрак медленно пробивалось слабое мерцание. В течение долгого-долгого полузабытья постепенно усиливающееся мерцание, перед которым так же постепенно отступал мрак, было моим единственным ощущением. Что-то шевелилось в мозгу, но еще не отливалось в формы, мои восприятия были строго ограничены, и лишь впоследствии, пытаясь заполнить страшный пробел, услужливое

воображение оживило его карикатурно зловещим образом Великого Экспериментатора.

А пока я только существовал, едва ли сознавая, что странный зрачок — оптический рецептор наблюдающего за мною электронного мозга. Убедившись при его помощи, что я открыл глаза, мозг много часов назад включил освещение, очень слабое вначале, чтобы не повредить отвыкшую от света сетчатку.

Несколько раз я опять проваливался во тьму, а когда окончательно вынырнул, было уже почти светло. Я увидел стенки открытой капсулы, высоко надо мной темнел свод пещеры, а совсем близко на длинном гибком стебле покачивался зрачок, уже не густо-фиолетовый, как в темноте, а бледно-сиреневый, совсем не страшный.

Мне захотелось пить. Мучительно, как страннику, блуждавшему по пустыне многие годы в поисках оазиса, и все же совсем не так. Я знал, что мне чего-то хочется, но слово «пить» было для меня бесконечно далеким, абстрактным понятием, не связанным ни с освежающим вкусом влаги, ни с глотательными движениями. Зрачок опять удалился. Его место занял сервробот. Он выдвинулся из стенки, скрипя шарнирами, ко мне протянулся манипулятор с подносом, на котором стоял стакан с пенящейся жидкостью.

Стакан, жидкость, пить — эти три слова разом выплыли из запасников моей памяти. Но я по-прежнему не знал, что такое — взять его в руки и поднести ко рту. У меня не было ни рук, ни рта, только глаза и расплывчатое туманное тело, которым сам еле пробудившийся мозг не был еще в состоянии управлять. Из шарниров сервробота выдвинулся другой манипулятор, эластичными клещами обхватил стакан и, осторожно нагибая, поднес к моим губам. И тогда безотказный механизм условных рефлексов взял верх над энтропией — я раскрыл рот. По нёбу потекла влага, я пил и с каждым глотком все яснее сознавал: жив! Из меня вырвался молчаливый крик, кричала каждая пробужденная к жизни клетка, с молниеносной быстротой они восстанавливали прерванные анабиозом коммуникации. Уже после пятого глотка я ощутил нечто вроде внутреннего сотрясения — сложнейшая машина, именуемая человеком, снова заработала.

Мне захотелось есть, и на этот раз это не было отвлече-

ченным понятием, а совершенно конкретным желанием вонзить во что-то зубы, жевать, глотать.

Тотчас рука-поднос снова приблизилась, на этот раз с какой-то кашицей. Я представил себе, как шарнирная нянька кормит меня с ложечки. Этого было достаточно, чтобы собрать все свои силы. Повинуясь моим биотокам, стенка капсулы откинулась. Я выполз, пытался встать на четвереньки, упал.

Когда я снова пришел в себя, меня поразила тишина. Погружаясь в анабиоз, я слышал ровное дыхание контрольной системы. Выходя из него, снова воспринимал ее еле слышные звуковые сигналы. Пока я спал, она бодрствовала, а теперь, решив, что ее дело сделано, автоматически выключилась. Я еще чувствовал крайнюю слабость, мысли были путаными, вставать не хотелось. Но контрольное устройство, очевидно, знало о моих физических возможностях куда больше меня самого.

И как только среди хаоса воспоминаний, ассоциаций, полумыслей выявилась одна, главенствующая, меня подняло с пола. Странно, я совершенно запамятовал, когда погружался в анабиоз, но точно помнил, что было это в какое-то страшное время, когда человечество, ожидая со дня на день термоядерную катастрофу, изо дня в день надеялось, что ее удастся предотвратить...

Я даже вспомнил, что думал, когда нажатием кнопки привел анабиозное устройство в действие. Вспомнил, но не так, как вспоминалось раньше. Сейчас во мне жили разрозненные картины и понятия. Чтобы воскресить их, надо было нырнуть глубоко-глубоко, пробиваться вместе с ними сквозь тысячефутовую мутную воду, а затем с мучительной болью выталкивать на поверхность. Что бы ни случилось, хуже быть не может — думал я тогда. Или войны не было, и тогда это означало, что люди стали разумнее. Или она была — тогда мои уцелевшие при Потопе полуодичавшие потомки начинают сейчас все сначала. А любое начало — лучше любого конца.

Через секунду я буду знать. Всего лишь через секунду. И вдруг с невероятной силой вспомнилось: и какое небо, и как пахнет земля, и как меня зовут... Тридент Мортон — первый человек на Земле, которому удалось, в сущности, умереть и снова воскреснуть! Но куда большим чудом было другое. В той, давно минувшей и словно прожитой кем-то другим жизни люди существовали для

меня лишь как фон моего собственного существования. Временами я их ненавидел, временами жалел, но никогда себя с ними не отождествлял. А теперь первой моей сознательной мыслью, ядерным взрывом, вырвавшимся из глубин подсознания три основных понятия: «небо», «земля», «я» — было жгучее желание узнать, что стало с человечеством.

Шатаясь, с трудом преодолевая каждый шаг, я дошел до датчика наружной радиации. Он показывал нечто невероятное — излучение, какое не осмеливались придумать даже самые мрачные фантасты. С человечеством было покончено.

И только тогда я подумал о себе. Выйти наружу при такой радиации было смерти подобно. Навсегда заперт в своем подземном убежище! Запасов продовольствия и воды хватало на год, может быть, даже на более длительный срок. А потом великолепный выбор — медленная смерть от голода или чуть убыстренная от облучения. Я расхохотался. Бесподобный финал для первого воистину воскресшего человека! Хохот приглушенным эхом прокатился по пещере. Нет, тогда уж лучше погибнуть наверху, увидеть в последний раз небо — на этот раз действительно в последний.

Я еще раз взглянул на датчик, а потом со мною началось форменное сумасшествие. Как всякий сумасшедший, я немедленно забыл, что еле держусь на ногах. И как только забыл, во мне проснулась чудовищная сила, словно я не пролежал без движения бог знает сколько лет, а все это время тренировался в прыжках, беге, преодолении препятствий. За неимением поблизости человека, я подбежал к теперь уже мертвому сервоботу, схватил одну из его рук-манипуляторов и долго-долго тряс:

— Поздравляю, человеке! — кричал я, упиваясь звуком своего голоса. — Поздравляю!

То, что я принял за рентгены, было миллирентгенами.

Никогда еще со времен экспериментального взрыва в Аламагордо уровень радиации не был таким низким!

Подъемник исправно поднял меня вместе с вертолетом. В нескольких футах от люка он остановился. Минут пять пришлось мне ждать, пока специальное устройство рассасывало накопившийся над люком песок. Пять минут? — Пять лет! Великое нетерпение кипело во мне,

переливаясь через край, и, когда люк, наконец, открылся, я взлетел так стремительно, что чуть не ударился о стенку шахты.

Ветер, солнце, пустыня. Великая пустыня! Когда я уходил, она казалась мне огромной песчаной могилой. Теперь пустыня была для меня олицетворением жизни. Переползали с места на место сыпучие пески, по ним ползли ящерицы, за ними охотился коршун, все было в постоянном движении, все было нужно и разумно, незаменимо в вечном балансе природы. Я кружил над своим запрятанным в землю убежищем и, глядя на желтые песчинки, стремившиеся поскорее засыпать автоматически закрывшийся люк, удивлялся, насколько они похожи на живое существо.

И когда не осталось уже ни малейшего следа моего пребывания, я развернул вертолет и полетел к людям.

Солнце садилось на горизонте, пустыня сменилась лесистыми горами, я даже радовался, что кругом такое безлюдье. Мне пока не хотелось ни с кем разговаривать, мне было совершенно достаточно шелеста деревьев, шума горной речки, пения птиц. Когда-то я был равнодушен и к природе, и к музыке, кроме разве джаза, и то потому, что он своими ритмами бил по притупленным нервам. Сейчас любой звук был частью бесконечной мелодии, я остро воспринимал малейший запах, краски имели множество оттенков, даже скользящая по скалам тень вертолета казалась цветной. Природа входила в меня через зрение, слух, обоняние, изменяла саму структуру моего организма. Я понимал, что это, в сущности, только конечный этап. Не я рождался заново, а за долгие годы небытия умерло мое прежнее естество.

Где-то, в каком-то шкафчике вертолета лежала карта. Но мне даже в голову не пришло воспользоваться ею. Я летел наугад, зная, что, куда ни полечу, всюду будут люди. Я потерял ориентировку, опять очутился над пустыней, а когда перевалил через горы, было уже совсем темно. Я нажал кнопку — прозрачный пластмассовый колпак откинулся, звезды были сейчас совсем близко. Я поднялся еще выше, включил автопилот на прямой курс и, откинувшись вместе с креслом, задрал голову, без конца глядел, как надо мной бесконечным роем пролетали светлячки Вселенной.

— Вы не узнаете меня? — кричал я. — Это я, бывший Тридент Мортон!

Внезапно звезды поблекли. Их затмило электричество. Пока что я видел только огни, здания заслонял высокий лес. Деревья укутывала темнота, но они подавали громкие позывные. В прежней жизни притупленное моторным смрадом обоняние осталось бы глухим. А сейчас я по одному лишь запаху безошибочно определил: кедры. Выключив автопилот, я перенял управление. Кедры качнулись в сторону, в нескольких минутах лета возник удивительный город. Насквозь пронизанные светом легкие здания, множество празднично одетых, неторопливо гуляющих, безбоязненно пересекающих улицу людей. Ни светофоров, ни столпотворения бешено мчащихся автомашин, ни зловонных транспортных пробок. Не дымилась фабричные трубы, не поднималось к небу облако смога, воздух был настолько прозрачен и чист, что, подлетая к городу, я видел дальний конец центральной улицы.

Город будущего! — подумал я с замирающим сердцем и тут же громко рассмеялся. В этом будущем я уже находился, для меня оно было настоящим.

Я был уже совсем близко. Здания расступились, сейчас я пролечу между ними, приземлюсь возле неоновой фонтана и обниму первого попавшегося — ну хотя бы ту девушку, что подставляет смеющееся лицо пестрым световым брызгам.

Я уже видел ее совсем ясно, лицо приближалось, выросло до невероятных размеров, вертолет на полной скорости врезался в экран, я услышал предсмертный вой мотора, подо мной провалился пол кабины, я падал в темноту, мимо пронеслось исковерканное алюминиевое крыло, надо мной по-прежнему сиял праздничный город. Навстречу мне зашумели кедры, я скользил вниз, цеплялся за ветви, и когда, весь израненный, приземлился, город стоял у меня над головой.

Внезапно он исчез, как мираж. Вместо него на том же месте возникли сияющие буквы в полнеба величиной: ТМ. Они продержались около минуты, потом их поглотила темнота. Теряя сознание, я услышал громоподобный голос:

— Вы только что видели самый молодой город Сое-

диненных Штатов — Новый Вашингтон, штат Малая Полинезия. Телемортон желает вам спокойной ночи!

Меня разбудил тот же громоподобный голос:

— Доброе утро! Сейчас шесть часов глобального времени. Телемортон передает сводку последних событий. Вчера государственный секретарь созвал в Пирамиде Мортонa пресс-конференцию, посвященную тридцать третьей годовщине Стены...

Я повернул отчаянно болевшую шею и посмотрел наверх, надеясь увидеть огромное, в полнеба, лицо диктора. Уже вчера я отлично понял на собственной шкуре, что колоссальный экран, не в пример телевизорам моего времени, изготовлен из сверхпрочного материала. Мой дюралюминиевый вертолет разбился о него, как яйцо о камень. Кругом лежали обломки самых различных размеров, от превратившегося в яичницу пульта управления до почти невредимого шкафчика, из которого вывалились навигационные карты. На них блестели капли росы, и когда косые лучи восходящего солнца ударили сквозь хвою, по плану Нью-Йорка рассыпались миниатюрные радуги. Но я не понимал, зачем в столь уединенном месте возводить вместо мотеля или хотя бы туристического ресторанчика такую информационную машину. Сейчас все стало на свои места. Мимо экрана шли вертолеты — смешные кузнечики, вчетверо меньше моего, а когда на нем появилось изображение какой-то диковинной пирамиды, затем нечто вроде гигантской телестудии, где проводилась пресс-конференция, некоторые из них неподвижно повисли в воздухе. Изображение снова исчезло. Над лесом, в желтовато-бурых горах, опять зияла черная дыра экрана, на котором уместилась бы целая площадь. Но на нем не было ничего, кроме двух исполненных сияющих букв: ТМ. Диктор продолжал говорить:

— Государственный секретарь напомнил нашим соотрудникам, что Стена принесла человечеству мир и процветание...

Я был потрясен. Стена? Что за Стена? Слишком много нового в этом непонятном мире! От старого остался один лишь Телемортон, но какой — беззубый, лишенный вкуса и цвета, голый информационный механизм. Я дивился вертолетной аудитории, но еще больше тому, как это они мирились с двумя буквами вместо прямой пере-

дачи события или хотя бы телепортета смазливой дикторши. Позволь себе Телемортон подобное в мое время, болельщики наверняка закидали бы экран бомбами. Во мне боролись два противоречивых чувства. Я чувствовал себя как будто обворованным и в то же время понимал, что лучше показывать эти идиотские буквы, чем кровь и трупы.

Я поднялся на ноги и ощупал себя. Руки и лицо были в крови, одежда изодрана, но в общем я был невредим и цел. Я подумал, где бы найти воду и умыться, и только тогда до моего сознания по-настоящему дошли услышанные только что слова.

«Стена принесла человечеству мир и процветание...» «Глобальное время...» Это ведь означало, что не существует больше ни границ, ни раздоров, ни войн. Вместо сотни стран одна-единственная — земной шар, вместо десятков тысяч больших и маленьких народов — один-единственный. Человечество.

— Государственный секретарь подчеркнул, что Стабильная Система навсегда избавила мир от таких понятий, как голод, нищета, трущобы. За одну лишь последнюю неделю правительство выстроило десять новых городов, в которых свыше чем миллиону были предоставлены бесплатные комфортабельные жилища.

Я опять ни черта не понимал. Бесплатные квартиры — это прекрасно. Но в мое время государственным секретарем называли министра иностранных дел. Какое же отношение он имеет к жилищному строительству? А потом раз все государства объединились, зачем им министр иностранных дел? Разве что для сношений с другими планетами?

— Государственный секретарь заявил, что, несмотря на полную автоматизацию — одну из самых примечательных черт Эры Стены, число работающих неуклонно растет. За последние три месяца две тысячи триста четырнадцать человек нашли себе увлекательную и приятную работу.

Ну и мир! Я покачал головой. Вот отчего во вчерашнем телерепортаже из Нового Вашингтона меня удивило необычайное количество праздных людей. Я вспомнил слова одного философа моего времени. «Без пищи человек в крайнем случае может прожить две недели, без

воды — одну неделю, без забот — ни одного дня! Лيشите его забот — о хлебе насущном, об осуществлении эфемерной, бесконечно далекой мечты, на худой конец, даже о том, за кого голосовать на следующих выборах — и он покончит с собой!» Какая чепуха! Я вспомнил девушку, подставлявшую свои смеющиеся губы цветному неоновому фонтану. Видно, не так уж плохо получать бесплатные квартиры, жить в этих светлых, легких, насквозь застекленных домах, переходить улицу без боязни быть раздавленным изрыгающим дым и зловоние транспортным страшилищем, дышать в самом центре города неоскверненным воздухом и, самое главное, ходить под небом, с которого никогда, никогда не упадет радиоактивный дождь.

Я стряхнул с себя прилипшую к пропитанной кровью одежде хвою, на всякий случай засунул в оборванный карман целехонькую карту штата Колорадо и пошел искать ручей. Кедровый лес с его живительной тенью кончился. Я вышел на открытое пространство — полупустыню с редким кустарником. Солнце уже палило вовсю. Как ни удивительно, я понятия не имел, какое сейчас время года, а тем более, в какой год я попал. Моя память по-прежнему представляла собой огромный зал со множеством наглухо запертых шкафов. Какая-нибудь случайная мысль или ассоциация сразу же отмыкала один из них. Все остальные остались на запоре. У меня не было прошлого.

Экран исчез за могучими кедрами. Я прошел уже около мили, но голос все еще следовал за мной. Я жадно прислушивался к новостям, почти ничего не понимая. Мир, в который я попал, был для меня крайне непонятным и сложным. И, должно быть, не так прост даже для тех, кто не знал иного.

— Экстренное сообщение! — прогрехотал вдали голос диктора. — Не отходите от экранов! Вчера в находящемся под Гудзоном депозитном хранилище бывшего Первого Национального Банка в присутствии главного кибернетика Кредимортонна, журналистов, конгрессменов и сенаторов состоялось торжественное вскрытие личного сейфа Тридента Мортонна, самого легендарного человека прошлой эпохи и самого могущественного нынешней, будь он жив. Как теперь стало известно, Тридент Мортон перед своим загадочным исчезновением оставил ука-

зание вскрыть его депозит ровно через пятьдесят лет. Сейф содержал не ожидаемое завещание, а величайшую сенсацию двадцать первого века! Тридент Мортон был первым человеком, погрузившимся в анабиоз! Для своего полувекового сна он избрал уединенное место пустынного колорадского плато. В случае, если он сам не вернется к назначенному для вскрытия сейфа дню, Тридент Мортон просил потомков разыскать его и оживить. Была сразу же выслана экспедиция, в которой приняли участие виднейшие биокибернетики. Они пришли слишком поздно...

Я совершенно забыл и о сейфе, и о том, что обещал явиться в этот день самолично. Забыл, как и о многом другом. Было, конечно, жаль ученых мужей, которых я оставил с носом. И в то же время мне стало до ужаса смешно. Представляю себе, какое впечатление у них сложилось по разбросанным повсюду полупустым банкам, бутылкам с отбитыми горлышками, отломанной у сервробота руке-манипуляторе, которой я варварски открывал консервы. Должно быть, решили, что анабиозный сон, начисто стерев из памяти цивилизованные навыки, отбросил меня на тысячи лет назад, к моим пещерным предкам.

Всего я провел в своем подземном убежище, постепенно акклиматизируясь и обучаясь заново давно забытому, около семи дней, половину из них в полубессознательном состоянии. Сейчас мне смутно вспоминалось, как я, неподвижно лежа в капсуле, ощущал какие-то пронизывающие мое бесформенное тело волны — это был ультразвуковой массаж. Как чувствовал еле ощутимые уколы — это контрольная система ежечасно брала анализы. Как пульсировали присоски, собирая данные о работе нервной системы, сердца, легких. Но все это заслонило чудо медленно, час за часом усиливающегося света.

Потом, уже покинув капсулу, я нашел аккуратную стопку кардиограмм, энцефалограмм, анализов, рентгено снимков, приготовленных электронным мозгом, а также бесконечно длинную ленту, где результаты исследований излагались общепонятным языком. В конце стояли слова: «С вами все в порядке. Через секунду отключаюсь».

Я даже не заглянул в эту медицинскую тарабарщину.

Кардиограммы, отпечатанные на толстой бумаге, нашли применение в качестве тарелок — и то лишь в редкие минуты возврата к светским привычкам. Я спешил жить, открывать бутылки штопором казалось мне напрасной тратой времени, я пил прямо из отбитых горлышек, ел, запуская пальцы в продырявленные, как попало, банки. Мильтон Анбис без конца твердил мне, что резкий прыжок из пещерного уединения в водоворот двадцать первого века может оказаться крайне рискованным для психики. Но не зная я, что автоматический люк, повинувшись поступившему из контрольного мозга указанию, раскроется не раньше, чем через неделю после моего пробуждения, я бы плюнул на все... Значит, обнаружили вместо нуждающегося в неотложной медицинской помощи полутрупа живехонького дикаря, который к тому же уже успел удрать от своих спасителей! Может быть, вертолетные телезрители как раз и были членами этой экспедиции?

Все во мне смеялось, я чувствовал себя величайшим шутником всех времен, упоенный собой, я на какую-то секунду перестал слушать диктора. Потом далекий гром его голоса снова ударил в барабанные перепонки:

— Экспедиция обнаружила, что недалеко от места нахождения подземной анабиозной установки проходил эпицентр землетрясения, которое в шестом году до Эры Стены полностью разрушило Большой каньон. При раскопках главный кибернетик Биомортон Уильям Унаверде сделал важное открытие. Под песком сохранился в целости биобарометр, непреложно доказывающий, что до момента катастрофы анабиоз протекал успешно. Символические останки Тридента Мортон будут на этой неделе захоронены в Пантеоне Бессмертных рядом с мемориальным храмом его отца. Поскольку богатейший человек нашей эпохи не оставил завещания, с сегодняшнего дня автоматически прекращает свою деятельность руководимый президентом Совет государственных опекунов. Пирамида Мортон переходит в руки его прямых и косвенных наследников во главе с детьми покойного президента — Тристаном Мортоном и Изольдой Мортон... Телемортон сердечно поздравляет их от имени семи миллиардов зрителей!

Я забрался в кустарник алоэ. Думать с непривычки было уже и так нелегко, а под спящим солнцем просто мучительно. Здесь, под колючими ветками с алыми, открывающимися навстречу солнцу цветами, была хоть какая-то тень. Я вспомнил чудаковатого Мильтона Анбиса, отдавшего всю свою жизнь осуществлению научной идеи. Каким наивным простаком он оказался! Не неделя, а месяцы требовались, чтобы без ущерба для расклада перескочить из моего времени в загадочную «Эру Стены».

Телевизор я принципиально не взял с собой, у меня в пещере был только транзистор. Несколько раз я безуспешно пытался поймать хоть какую-нибудь станцию, но ничего, кроме атмосферных помех да еще нечленораздельных звуков, очевидно, прокручиваемых на большой скорости магнитных записей, не услышал. Теперь-то я знал причину — выхолощенный Телемортон заменил собой радио и, вполне возможно, все остальные средства информации. Я явился в этот мир совершенно неподготовленным. Сейчас мне не оставалось ничего другого, как терпеливо подбирать отмычки к многочисленным загадкам.

Ну что ж, позабудем пока о том, что тебя объявили мертвым и начнем с самого легкого... Биокибернетики, биобарометр, Биомортон... «Био», насколько помнится, на греческом означает жизнь. Выходит, Биомортон что-то вроде медицинской скорой помощи. Спасать людям жизнь — хорошее дело, но почему в глобальном государстве этим должна заниматься частная фирма?

Ну, а Кредимортон? Что-то вроде кредитного учреждения с кассирами-роботами, которым за нерасторопность мылит шею главный кибернетик?

Следующей в вопроснике была «Стена». Она представлялась мне настолько мистическим, недоступным моему дикарскому разуму, явлением, что я даже не пытался уразуметь его. Но одно мне было уже сейчас ясно — приведшая к всеобщему благоденствию Стена не защищала от лжи и обмана. Я понятия не имел, кто из Мортон и за какие заслуги избирался президентом, в каких родственных связях я состою с его детьми Тристаном и Изольдой. Однако мотивы, побудившие их и ос-

тальных наследников объявить меня погибшим при землетрясении, были мне понятны. Принадлежавший моему времени Болдуин Мортон действовал примерно так же.

К кому я мог апеллировать? Какие доказательства мог предъявить? Анабиозную установку? Она наверняка разбомблена — крупная лож умеет обставить себя достоверными декорациями. Удостоверением личности я не запасся — в той, прежней жизни Тридента Мортон знали в лицо миллионы. А сейчас? Не исключено, что за эти полвека не остался в живых ни один человек, могущий удостоверить, что я не самозванец.

Последняя мысль даже принесла мне облегчение. Отчаянная ситуация для только что воскресшего, но может быть, именно тот шанс, к которому я всегда стремился. Затеряться среди семи миллиардов, быть таким же человеком, как все, начать жизнь сначала — без всяких привилегий.

Меня томила жажда. Выбравшись из тени, я побрел подальше от громоподобного голоса. Бог с ним, с фантастическим богатством! Со всякими телемортонками, кредитмортонками, биомортонками! Найти ручей было сейчас куда важнее.

Внезапно я остановился. Может быть, я все же несправедлив к ставшему настоящим будущему. Видно, не так уж оно плохо, если в состоянии обеспечить всех даровой пищей и кровом. Может быть, вовсе не в интересах каких-то наследников придумана легенда о моей гибели? Может быть, основанное на стабильности, на разумном балансе государство просто боится прежнего Тридента Мортон? Сумасброда, от которого можно ожидать чего угодно. Ведь недаром я сам когда-то боялся неограниченной власти. Сейчас, если верить диктору, я был бы самым могущественным человеком. Много ли надо такому, чтобы, даже не со зла, а просто не разобравшись толком в тончайшем слаженном механизме, уподобиться слону в фарфоровой лавке?

Ручей я нашел. И вместе с ним первого попавшегося на моем пути потомка. Молодой парень в блестящем синтетическом комбинезоне деловито вытаскивал из диковинного прозрачного рюкзака разные яства, а на сковородке, ничем не отличавшейся от сковородок моего

времени, уже аппетитно жарилась картошка. К моей жажде прибавился такой же невыносимый голод.

Он поднял голову, оглянулся и, выронив пакетик в золотой обертке, отступил на несколько шагов. Исцарапанный, окровавленный, в изодранной одежде двадцатого века, я, должно быть, показался ему привидением.

— Продайте мне продукты! — сказал я хрипло, боясь, что он примет меня за бездомного бродягу или того хуже.

— Кто ты такой?

Я пробормотал нечто невнятное, стараясь понять, почему он на меня так смотрит. Менее всего его удивил мой костюм — позже я узнал, что не так уж мало людей, стараясь хоть чем-нибудь выделиться, одеваются по моде прошлого века. Его зрачки расширились — видно, кроме моего истерзанного внешнего вида, не укладывавшегося в рамки эпохи, было во мне что-то чужеродное.

— Я заплачу, — быстро сказал я, не давая ему возможности осмыслить эту чужеродность. Каковы бы ни были побуждения, заставившие наследников или государство придумать мою смерть, в моих собственных интересах не опровергать легенду. Я верил в разумность непонятного мне мира, но не слишком доверял его гуманности.

— Чем? — усмехнулся он, высыпая содержимое пакетика в сковородку. Желание поиздеваться над ближним, к счастью для меня, на время заглушило все остальное.

Я вытащил было из кармана пачку ассигнаций, но молниеносно спрятал. Деньги, по крайней мере наличные, принадлежали прошлому — это я понял по его взгляду. Но если существовало такое понятие, как богатство, то вместе с ним должен был сохраниться его непременный атрибут — чековые бланки. Рассуждал я в эту минуту, конечно, не так логично. Я был слишком возбужден и первой встречей с представителем XXI века, и боязнью выдать себя полной неосведомленностью, и бешеным желанием поскорее наброситься на содержимое сковородки. Но прежде я всласть напился, подставив обе ладони под прохладную чистую воду.

— Вот сто долларов за все твои припасы, приятель! — Мокрыми еще пальцами я вытащил чековую книжку и авторучку.

— Долларов? — прохрипел он, пятясь задом. Сковородка опрокинулась, картошка и мясные лепешки вывалились на песок.

Не знаю, кто из нас больше испугался — он, вытаращенными глазами глядевший на мою чековую книжку, или я.

— Чек на сто долларов? — дрожащим голосом повторил он. Фраза в его устах звучала как цитата из давно забытого учебника. — С какого ты света явился? Может, ты и есть тот Мортон, которого прикончило землетрясение?

Я знал, что мне не выкрутиться. Даже не пытался. Набросился на картошку и мясные лепешки, пожирал их прямо с песком и, если придумывал объяснение, то лишь своей неприличной прожорливости.

— За пятьдесят лет проголодаешься! — объявил я с полным ртом.

Он не обращал на меня никакого внимания — прислушивался к далекому голосу теледиктора. Я уловил только последнюю фразу:

— ...налет на музей банковских операций в Колорадо-Сити, из которого похищены золотые слитки общим весом семь килограммов. Три участника ограбления задержаны, остальным удалось бежать в пустыню...

— Так вот, кто ты такой! — Яростно растоптав остатки еды, парень схватил пустую сковородку. — Проклятый клановец! Всю жизнь ненавидел вашу шайку! Это из-за вас я отправляюсь в биодом! — он замахнулся сковородкой, намереваясь обрушить ее на мою голову.

— Неправда! — крикнул я на всякий случай, недоумевая, кто такие клановцы.

— Врешь, сукин сын!.. Ну, ладно, — он швырнул сковородку в ручей. — Попадись ты мне месяцем раньше, я бы задушил тебя голыми руками. А теперь это не имеет значения... — он уже говорил больше сам с собой. — В последний раз прошелся по вольному воздуху, в последний раз посмотрел на деревья и горы, в последний раз сам себе приготовил еду... Разве иначе ты застал бы меня в таком месте?.. А через час я уже буду в биодоме. Убирайся, пока не переломал тебе все ребра!

Вероятно, я последовал бы его совету, но пройдя несколько шагов, услышал за собой яростный шепот:

— Все равно далеко не уйдешь! Из ближайшего телеинформа я сообщу полиции.

Быть принятым за какого-то клановца и выданным полиции — этого мне еще не хватало. Прежний Тридент Мортон потерял бы голову, очутись он в такой ситуации, но сейчас все во мне было иным — и физические силы, и умственные способности. Реагируя с быстротой, которая немало удивила меня самого, я на лету придумал довольно-таки правдоподобное объяснение. В мгновение ока я превратился в отбившегося от остальных, заблудившегося в пустыне члена спасательной экспедиции, а допотопные деньги и чековая книжка — в археологическую находку на месте засыпанной землетрясением анабиозной установки.

Он мне как будто не очень верил, и тогда я, в поисках убедительного доказательства, вспомнил про кольцо с бриллиантом. В вертолете я случайно нащупал его в кармане, хотя понятия не имел, как оно там очутилось.

— Вот что я еще обнаружил при раскопках! — Я вынул перстень. Шлифованные грани загорелись на солнце, в глубине засветился переливчатый огонь.

— Что это за камень? — парень недоверчиво повертел кольцо в руке. — Прозрачный как будто, а изнутри не то красный, не то синий...

Бриллианты были для него такой же диковиной, как для меня музей банковских операций. Но когда я ему сказал, как называется камень, его охватило такое же возбуждение, как меня при виде еды.

— Сейчас проверим! — Закинув рюкзак за плечо, он стал продираться сквозь кустарник.

Кольцо осталось у него в руке. Я мог бы выбить его одним-единственным ударом, а вторым свалить парня с ног — во мне накопилось столько силы, что я бы справился с любым, кроме чемпионов по боксу. Но я не стал этого делать. Я вообще уже не думал о кольце, лишь о надписи на внутренней стороне, которую только что заметил:

«Торе от Трида».

Торе от Трида. Торе от Трида.

В моем мозгу явно слышался характерный звук вертящегося сейфового диска, на котором набирают нужную комбинацию. Дверца с металлическим звоном распахнулась, на меня нахлынули воспоминания. Тора! Целый

мир, куда входила и моя первая близость с женщиной, и та, последняя, перед выступлением Торы в первой передаче Телемортонa, и множество женских рук, к которым я прикасался — страстно, безразлично, безглаголиво, — и длинный безымянный палец Торы с багровым, в цвет туники, ногтем и обручальное кольцо с часиками. Кольцо было, собственно говоря, мое, мы просто обменялись перед выступлением, потому что остановились ее часы, а ее были с бриллиантом, принадлежавшим прежде принцессе монахской, а до нее — русской великой княгине. По глубокому убеждению Торы, знаменитый камень приносил счастье. Потом, когда ее убили, кольцо осталось у меня и вместе с аппаратом гипносна отправилось в полувековое путешествие.

Мы вышли на бетонированную дорогу. У горизонта, полузатерянное среди скал и могучих кедров, высилось какое-то здание. Судить отсюда о размерах было трудно, может быть, оно казалось таким большим из-за того, что рядом не было никаких других строений. На обочине дороги стоял игрушечный домик без окон. Мы вошли. Я увидел экран, а под ним клавиши. Нажав одну из них, мой спутник нетерпеливо потребовал: — Найдите ближайшего ювелира! Поскорее, мне некогда!

— Сейчас поищу, — ответил бесстрастный механический голос.

Через несколько секунд экран вспыхнул. Я увидел ювелирную мастерскую и пожилого мужчину, тщательно шлифовавшего наждаком необычное ожерелье. Я готов был поклясться, что оно из стекла. В мое время такую побрякушку можно было купить в магазине детских игрушек.

— Что у вас там такое? — не отрываясь от своего занятия, спросил владелец мастерской.

— Спрячьтесь! — шепнул мне парень, заслоня спиною. Я отошел в угол вовремя — ювелир как раз поднял голову, чтобы осмотреть протянутое моим спутником кольцо.

— Граверная работа, старинная, — он отложил в сторону лупу. — Позапрошлый или прошлый век... Бриллиант 18-каратовый, судя по чистоте, южноафриканский, шлифован в Амстердаме... Но это, может быть, и искусная подделка. Придется проверить при помощи спектрального анализа.

— Неужели не существует другого способа? — нетерпеливо пробурчал мой спутник.

— Кроме лабораторного? Никакого. Алмазы режут стекло, но где вы его сейчас найдете? Только в музее и у лучших ювелиров.

Станный мир! — думал я. — Мир, который с каждой минутой становится все более непонятным. Банковский музей, музейное стекло. Это еще куда ни шло. Но в голосе ювелира, когда он упоминал Амстердам и Южную Африку, улавливалась удивительнейшая интонация. Примерно таким тоном в мое время говорили об Атлантиде. Я впервые по-настоящему представил себе, как добираться до ближайшего города — без денег, без малейших познаний в топографии своего времени, которые прививаются человеку с детства и помогают ему ориентироваться в любой обстановке. Уже при первом шаге я бы выдал себя с головой. Продать кольцо какому-нибудь ювелиру означало бы для меня то же самое, что человеку моего времени предложить владельцу оружейного магазина атомную бомбу. На первых порах, пока я мало-мальски не разобрался, что к чему, мне нужен был укромный приют, где меня бы кормили и не слишком расспрашивали. Сейчас я был убежден, что счастливый случай столкнул меня с этим парнем. Он направлялся в биодом. Это название было созвучно Биомортону и, несомненно, имело отношение к медицине. Санаторий или лечебница — именно то, что более всего подходит для первых шагов Тридента Мортонна по тонкому льду новой жизни. Я предполагал, что новая жизнь встретит меня как воскресшего Иисуса Христа, а она при помощи чудовищного обмана загоняет меня в подполье. Ну что ж, санаторий не самое худшее место для живого мертвеца.

Я мыслил втрое, вчетверо быстрее прежнего. Решение было принято прежде, чем ювелир закончил фразу. Оставаясь для него невидимым, я сунул моему спутнику в руку свои часы.

— Циферблат со стеклом! Подлинным стеклом! — владелец мастерской нагнулся, чтобы поднять оброненное от удивления кольцо. — Откуда это у вас?

— Не ваше дело! — пробурчал мой спутник. Я отметил его сообразительность. Не медля ни секунды, он

чиркнул бриллиантом по крышке часов. — Вот это да!.. Сколько я вам должен за консультацию? — Он вытащил из кармана металлическую книжицу с литерами «Кредитор-мортон» и десятизначной цифрой на массивном переплете. — Сколько? Поживее! — повторил он торопливо, раскрыв ее. Страницы были из тончайшей фольги, на внутренней стороне металлической обложки окошко, как в мое время у счетчика такси.

— Десять кредитов! — промямлил все еще не оправившийся от изумления ювелир. В его руке появилась такая же книжица с такой же десятизначной цифрой на обложке.

Мой спутник нацарапал эту цифру, водя прикрепленной к переплету иглой по серебристой страничке, а ниже вывел десятку. Потом взглянул на свое окошечко. Через несколько секунд видневшаяся в нем сумма уменьшилась на десять единиц, а сумма в окошечке ювелира увеличилась на столько же.

Операция заняла полминуты и для меня, не посвященного в тайнство, выглядела как иллюстрация к волшебной сказке. Позже я узнал, что за этим колдовством кроется, в сущности, весьма нехитрый для двадцать первого века технический секрет. Каждый человек, от мультимиллионера до живущего на государственное пособие, имел свой личный счет и чековую книжку с электронно-импульсным передатчиком, непосредственно связанным с единой вычислительной системой.

— Все в порядке! — автоматически пробормотал ювелир и только тогда опомнился: — Кольцо! Продайте мне кольцо! Я дам вам за него...

Но мой спутник уже отсоединился — он явно не желал, чтобы я узнал цену.

Мы вышли из телеинформа. Солнце жгло вовсю, одинокое здание на горизонте стояло закутанное в дрожащее световое марево.

Парень выразительно плюнул в ту сторону, потом повернулся ко мне:

— Поговорим начистоту! Может, ты действительно член экспедиции и украл кольцо вместе со старинными часами и бумажными деньгами. Может быть, ты ничего не крал и все это принадлежит тебе, — он взглянул на меня с многозначительной угрозой. — Если ты отдашь мне

кольцо, я не выдам тебя — это в моих интересах. Взамен получишь все, что у меня на личном счету, — хватит, чтобы укрыться от полиции. Кроме того, ты получишь продукты на дорогу и главное — мой комбинезон. В теперешнем виде тебя немедленно задержат. Помо-ему, это честная сделка.

Пожалуй, он был действительно честен — на уровне мышления своей эпохи. Мог ведь вполне не заплатить ювелиру за консультацию. И с такой же легкостью уд-рать с кольцом Торы. А с другой стороны — не гнушался обмана. Все его богатство состояло из 36 кредитов — именно эту сумму показывало окошко.

— Согласен, если ты добавишь путевку в биодом.

Я чуть было не сказал «в санаторий», но вовремя удержался. Он уже и так знал обо мне больше, чем я хотел. Совершенно ни к чему давать ему возможность удостовериться, что я человек из прошлого. Как-никак, моя версия с обворовавшим могильник Мортон биокibernетиком, или как их там сейчас называют, звучала не так уж плохо. Во всяком случае, куда правдоподобнее правды. И пока у него останется хоть тень сомнения, он не осмелится никому рассказывать, что самолично видел Тридента Мортон, умершего, согласно официальной версии, в 6 году до нового летосчисления. Ни минуты не колеблясь, он передал мне путевку. На ней красовалось видное отсюда здание.

Вот это удача! — подумал я, пробегая глазами лаконичный текст: «Биомортон. Биодом № 53. Гарри Филиппо, штат Мату-Гросу, территориальная единица 1227». При помощи осторожных вопросов мне удалось разузнать, что срок пребывания — три месяца, удостоверение личности не требуется и, главное, кормят до отвала.

— Как свинью на убой, — усмехнулся парень, нап-ливая на себя мои залитые кровью лохмотья. Я не обратил на это внимания. Не обратил внимания и на то, что он все время отворачивался, а временами глядел на меня как на сумасшедшего. Я зашагал по бетонированной дороге, чувствуя себя удивительно легко и свободно в почти невесомом комбинезоне. Он все глядел мне вслед, однажды даже что-то крикнул, словно намереваясь остановить меня. Но, передумав, круто повернулся и исчез в кустах.

Через несколько минут я позабыл о нем. Удивительное здание, скорее крепость, чем жилой дом, по мере того, как я подходил ближе, выросло в размерах. Металлическая глыба, в которую наверняка вмещались тысячи людей. Отсутствием окон оно напоминало телемортоновскую башню, но строительный материал был иной — не синтетический камень, а монолитный сплав. «Может быть, это для звукоизоляции?» — подумал я, пока не увидел пулеметы на крыше. Пулеметы? С таким же успехом я мог считать их телескопами. Решив раз навсегда не применять к совершенно неизвестным явлениям знакомые понятия, я принялся отыскивать вход.

Неожиданно стена расступилась, и я очутился в прохладном белом холле с высокими, как в церкви, сводами. Миловидная девушка в белом комбинезоне с золотыми буквами «Биомортон» на груди молча взяла у меня путевку и так же молча нацепила мне на правое запястье браслет. На нем был циферблат с множеством делений, вместо цифр — буквы.

Возможно, это был действующий по принципу кредитной книжки (или «кредикнижки», как ее называли люди Эры Стены) прибор для измерения давления крови, пульса, температуры. Спросить я не осмелился.

— Гарри Филиппо! — крикнула девушка в пространство.

— Комната 8643! — ответил исходивший с потолка электронный голос.

— Переведите стрелку на букву «К»! — Заметив мое недоумение, она сделала это за меня и, не дав опомниться, подтолкнула к дверям. Я повернулся, чтобы спросить, зачем в санатории бронированные двери. Но было уже поздно. Броня бесшумно задвинулась. Я стоял в длинном пустом коридоре и ошалело глядел на выросшее у моих ног световое пятно. Оно превратилось в стрелку и побежало вперед, как бы приказывая следовать за собой. Косясь на это новое чудо, я дошел до лифта. Стрелка юркнула в щель дверцы, дверца раскрылась, и как только я вступил в лифт, он понесся. Стрелка у моих ног опять преобразилась в световое пятно. Но едва лифт остановился, пятно выскользнуло из него стрелой и побежало, как поводырь, то останавли-

ливаясь вместе со мной, то ускоряя движение. Коридор был так же пуст, как внизу, сплошная стена без единого отверстия. Внезапно стрела замерла и, свернувшись в светящийся клубок, ускользнула в стену. Но я ошибся. Это была не стена, а дверь. Я переступил порог и очутился в очень комфортабельной комнате. Все здесь было, как в первокласснейшем отеле двадцатого века. На столе лежал справочник. Я раскрыл его наугад:

Кинозал «Стена» — КС
Кинозал «Телемортон» — КТ
Кинозал Эрос — КЭ
Кинозал Планета — КП
Зал любви — ЗЛ
Зал аттракционов — ЗА
Зал галлюцинаций — ЗГ

Кажется, медицина ХХI века пришла, наконец, к разумному заключению, что самое лучшее лекарство для человека — жить в свое удовольствие.

Но прежде всего следовало поесть. Прежний Тридент Мортон, считавший еду скорее обременительной привычкой, чем удовольствием, наверняка начал бы свою вторую жизнь с рекогносцировки территории, на которой ему предстояло прожить дальнейшие три месяца. А вот новый Тридент начал с того, что заглянул в справочник. Ресторанов было несколько, столько же баров, каждый обозначен соответствующим двубуквенным шифром. Но ни малейшего намека на то, как и на каком этаже их искать.

Я вышел в коридор. Где-то в дальнем конце промелькнуло несколько человеческих фигурок, но они были слишком далеко, чтобы окликнуть. Световое пятно, словно в нерешительности, застыло на линии, отделяющей мою комнату от коридора.

Совершенно случайно я взглянул на свой браслет. Ресторан «Робот» имел в справочнике шифр «РР». Эти же буквы виднелись среди множества других на циферблате. Любопытствуя, как ребенок, окажется ли моя догадка правильной, я перевел стрелку. Еле она отклонилась от буквы «К», как световой поводырь прыгнул к моим ногам. В ту же секунду дверь закрылась, совершенно слившись со стеной. Стрелка циферблата косну-

лась букв «РР», превратившийся в стрелку шарик по-
неся вперед. На этот раз путь через дом-город был
длиннее и сложнее. Лабиринт коридоров с десятками
лифтов возле каждого поворота, вниз, снова вверх, на-
конец этаж, где я впервые увидел настоящие двери.

Кое-где на пути встречались люди, большей частью
молодые, в цветных комбинезонах, изредка в платье или
костюме старого покроя. То, что их было сравнительно
мало, не удивляло меня — в таком громадном здании
легко затеряться. А заблудиться и того легче, без про-
водника я бы часами искал нужное место.

На меня никто не обращал внимания. Кто-то, видимо
под хмельком, пел непонятную мне песню, какой-то па-
рень на виду у всех целовал девушку, из ближайшего
лифта со смехом и шутливыми возгласами высыпало че-
ловек семь.

— Вы пойдете на «Стену»? — пробегая мимо, оклик-
нула меня молодая женщина с зелеными глазами. — С
сегодняшнего дня показывают заново! Не пропустите!

Я что-то промычал в ответ — тоже на ходу, едва ус-
певая за своим поводырем, приведшим меня к дверям со
светящейся надписью РЕСТОРАН «РОБОТ». Они мо-
ментально распахнулись, пропуская нас. Вначале я ду-
мал, что попал на крышу. Высоко-высоко над головой
голубело небо, солнце заливало столики. Я сел за один
из них, электронная собачка покорно улеглась у моих
ног. Столик был пластмассовый, с бортиком, с похожим
на мембрану отверстием с краю и чрезвычайно толстыми
металлическими ножками на колесиках. Я нарочно выб-
рал место подальше от людей и теперь издали разгля-
дывал их. Нормальные, занятые процессом пищеварения
люди. Внешне они почти ничем не отличались от моих
современников, если не считать большого однообразия
в покрое одежды и разнообразия в выборе красок. Уже
в мое время многие модницы предпочитали искусствен-
ный цвет волос естественному. Сейчас я замечал самые
неожиданные оттенки. И все же одетая в комбинезоны
молодежь вполне могла бы сойти за обедавшую в завод-
ской столовой смену, не будь светового пятна, застыв-
шего на полу возле своего подопечного.

На одной стене загорались и снова гасли уже знако-
мые мне по справочнику названия и шифры рядом с ука-

занием времени. По другой пробегаали совершенно непонятные слова. Изредка среди этих загадочных названий попадалось вызывавшее во мне определенные ассоциации слово. Оно вызывало в памяти иногда блюдо, иногда даже целое меню, но повинен в этом был, очевидно, голод. Я думал — стоит мне занять место, как подбежит робот с переброшенной через шарнирную руку белоснежной салфеткой и, согнув свои сочленения в низком поклоне, осведомится: «Что, господин, угодно?» Но робота не было и в помине. Тогда я, совершенно позабыв, что нахожусь не в ресторане XX века, стал нетерпеливо барабанить пальцами по крышке стола. Ничего не произошло, если не считать быстрого взгляда, которым меня пронзил одиноко сидевший поодаль блондин средних лет. Он сразу отвернулся, я даже не успел разглядеть его лица. Остальные не удостоили меня вниманием. Я уже понял — здесь каждый делает все, что ему вздумается. Неплохое правило для санатория. Или это вовсе не санаторий, а Дом Тысячи Радостей, по образцу мортоновских райских поселков для престарелых, только приноровленный к запросам более молодых?

А между тем еда все не появлялась — ни волшебным, ни самым обыкновенным способом. Даже солнце и небо над головой уже не радовали. Я успел заметить: голубая крыша Земли ведет себя вопреки всем законам физики — отражает светящуюся стену, как и полагается совершенно прозрачному потолку. Я с упреком взглянул на своего поводыря. Может быть, мне только показалось, что он весь сжался от сознания вины. Во всяком случае, было ясно — помочь с едой он мне не в состоянии. Оставалось только подсмотреть, как другие добывают пищу в этом заколдованном мире.

Недалеко от меня уселась парочка. Оба, как по команде, подняли голову, изучая стену. Потом женщина, наклонившись к отверстию в пластмассовой крышке, повторила вслух десяток бегущих по стене слов. Не дожидаясь результата, я повернулся к ним спиной и, наугад выбрав несколько названий, сообщил моему столу. И тут он сыграл со мной презлую шутку — больно отшвырнув опиравшийся на пластмассовую поверхность локоть, укатил на своих колесиках и исчез в стене. Но долго сердиться на него не пришлось. Уже через минуту он снова появился и, ловко лавируя между такими же,

притворившимися обычной мебелью кибер-официантами, принес долгожданный завтрак.

Закончить его мне не удалось. Помешали огромнейшие буквы, загоревшиеся слева взамен прежних мелких надписей:

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! КИНОЗАЛ «СТЕНА» КС 12.00 ПЕРВАЯ ДЕКАСЕРИЯ

Посетители ресторана, бросив недоеденными тарелки и недопитыми стаканы, вскочили и, почти синхронно поставив стрелки циферблатов на «КС», направились к дверям. Опережая их, туда же побежали светящиеся стрелы. Массовый психоз захватил и меня. Может быть, таинственная первая декасерия немного приоткрывает завесу над мучившим меня вопросом: почему я живу в «Эру Стены», а не в «Эру Окна»? Однако, в отличие от других, я задержался, чтобы сказать моему столику «спасибо».

— Дал бы лучше чаевые! — противно наглым голосом откликнулся четырехногий официант.

Я опешил. Это напоминало мне что-то знакомое. Спроектированное Лайонеллом Марром проверяющее роботустройство в телебашне, типичный образец его представления об англосаксонском юморе. Вспомнилось, как телемортонская девушка не соглашалась впустить меня одновременно с Торой в движущийся коридор и как с потолка раздался грубый окрик: «Впустить, дура!». Наверное, Лайонелла уже давно нет в живых — такие неумные в неистовой жажде поскорее достичь цели разрушители рано сжигают себя. Свою пирамиду из проклятий он так и не выстроил. Пока что я не слишком симпатизировал восхваляемой государственным секретарем Стабильной Системе, может быть, потому, что, по сравнению с арифметикой моей эпохи, она была чем-то вроде высшей математики. Но во всяком случае, мир не стал теми жестокими гигантскими сверхджунглями, в которые его когда-то мечтал превратить Лайонелл.

Когда я выходил, левая стена все еще пылала неоновым пожаром, призывая посетить кинозал «Стена». А в ресторанном зале оставался единственный посетитель — блондин, так странно взглянувший на меня, когда я

барабанил по столу. Он сидел в дальнем углу, спиной ко мне, и смеялся. Не надо мной ли?

На фильм я пришел с опозданием. Титры уже кончились. На экране я увидел белый зал в восточном крыле Белого дома. Мне он был знаком не только по снимкам. Это было, если не ошибаюсь, в 1963 году. По старому летосчислению, хронология нового мне еще не давалась. Джон Кеннеди устраивал интимный прием, на котором должен был присутствовать отец. Меня он тоже взял с собой. Я не очень-то стремился к высоким знакомствам, но мне, семнадцатилетнему парню с типичным пороком юности — иллюзиями, хотелось все-таки посмотреть на президента, который умел не только произносить речи.

Сейчас на том месте, где тогда находился бар, стояли в торжественной позе, как солдаты на параде, мужчины и женщины разного возраста, но с одинаково интеллигентными, волевыми лицами.

Торжественная тишина. В рассчитанном на тысячу человек кинозале чувствовалось напряжение. Словно сейчас раздадутся слова, решавшие их судьбу. Люди тяжело дышали, этот единственный звук только подчеркивал намагниченную тишину.

Потом ее сменил торжественный голос диктора:

— 23 сентября последнего года старого летосчисления, в труднейший для страны час, когда мы со дня на день ожидали внезапного атомного удара с Востока, президент Соединенных Штатов призвал к себе самых отважных и опытных секретных агентов. Им предстояло отправиться в разные страны и, в случае возникновения войны, докладывать о сложившейся там обстановке. Этот фильм составлен из документальных кадров-донесений, которые они до последней минуты передавали по гравителеону. Их было ровно сто — пятьдесят мужчин и пятьдесят женщин, погибших на боевом посту в первые дни Новой Эры... Сейчас президент попрощается с ними, и они больше никогда не увидят ни его, ни Белый дом, ни Вашингтон, ни Америку.

Президент медленно подошел к стоящим в первом ряду. До сих пор я его видел только со спины. Теперь он повернулся. Картина была стереоскопической, намного выше того довольно примитивного уровня, каким гордился мой век. Фигуры словно выходили из рамок экрана, приближались вплотную к каждому зрителю.

Президент пошел прямо на меня, я увидел его лицо с жесткими морщинами, под стать серым колючим глазам, и громко воскликнул. Это был мой двоюродный брат Болдуин Мортон! Он пожал руку двум женщинам и двоим мужчинам, стоявшим в переднем ряду. Когда они выходили из зала, по экрану проплыли титры с их именами. Потом появилась надпись: «Стена. Первая декасерия, 1-я серия».

Начало фильма было скучноватым. Подробно показывалось, как четверо агентов надевают абсолютно прозрачные, плотно прилегающие к одежде и телу антирадиационные костюмы, как проверяют лученепроницаемые контейнеры с кубиками концентрированной пищи и синтезированной воды, как их инструктируют в обращении с электронным оружием и гравителевизионными микрокамерами. Диктор пояснил, что розданные агентам сто гравителеонов были единственными когда-либо изготовленными, ибо в первый день войны погибла группа работающих над изобретением ученых и вместе с ними секрет используемых для связи модулированных гравиволн. Потом показывалось, как специалисты проверяют атомную подводную лодку с фантастически простым электронным управлением, как погружают в ее брюхо разведывательный ракетоплан. Еще одна сцена прощания — и четверо агентов опускаются в подводную лодку, люк захлопывается, конец первой серии.

Вторая начиналась с уличной сценки в пригороде Парижа. Четверо секретных агентов, ничем не отличающихся от окружающей толпы, бродили по рынку. Люди разговаривали о войне, возбужденно читали газеты, толковали о том, кто первый ударит — Америка или Китай. Россия держалась пока что в стороне от назревающего конфликта, но, судя по выкрикам уличного продавца экстренного выпуска «Телемортон, Франция», Соединенные Штаты боялись неожиданности с ее стороны.

Потом вдали вспыхнуло огромное солнце.

За взрывом следовали четыре серии со всеми ужасами молниеносной термоядерной войны. Секретные агенты пробирались сквозь разрушенные города, сквозь горы мгновенно погибших от взрыва, сквозь полчища потерявших зрение и обожженных. Все это показывалось с таким натурализмом, по сравнению с которым бывшие

телемортонские передачи моих дней казались жалкой самодеятельностью.

Я думал, что не выдержу. Но выдержал, как и все, пять часов подряд, триста минут, за которые показали гибель половины Франции. Потом был перерыв — всего на двадцать минут. Тут же, рядом с кинозалом, были автоматы с закуской и напитками. Люди жадно набрасывались на них, и я тоже. Едва ли я чувствовал голод или жажду, но только что я видел миллионы уцелевших при катастрофе, которым предстояло или умереть от голода и жажды, или глотать радиоактивную пищу и воду. Это не был художественный вымысел, это был документ, настолько убедительный, что временами казалось — я сам расхаживаю среди трупов. И непостижимое чудо, что я, умерший в первый день войны, все еще жив, могу есть и пить, не боясь страшной расплаты, заставляло меня поглощать с яростным аппетитом все, что выпадало из автоматов.

Зрители опять уселись, ни одно место не пустовало. И начался новый пятичасовой кошмар — пятьдесят миллионов, постепенно умиравших от последствий ожогов и облучения, от радиоактивной пищи, от массовых эпидемий. Время от времени секретные агенты, спрятавшиеся где-нибудь в развалинах, с тысячью предосторожностей вскрывают свои контейнеры с концентратами, слушают радио, обычное радио, и из последних сообщений еще работающих станций узнают, что все восточное полушарие постигла такая же участь. Когда они добрались до своей атомной подлодки, во Франции мало кто оставался жив.

Последняя серия. Ужасы кончились. На телеэкранах подводной лодки прозрачные морские глубины, еще не затронутые радиацией живые существа. Четверо агентов стоят в центральном пункте управления. Внезапно радар показывает впереди сплошное препятствие. Повинуясь команде электронного навигатора, подлодка сворачивает, пытаясь обойти препятствие. Миля за милей, сотни миль, тысячи, автоматический курсограф уже вычертил линию от Антарктиды до Северного полюса, но показания радара не меняются. Подводная лодка всплывает. Тут, на поверхности, тот же недвижимый барьер. На самой малой скорости субмарина подплывает как можно ближе. На обзорном экране — поразительное зрелище:

акула раскрывает пасть для смертельного прыжка, бросается вперед, отскакивает как мячик от невидимой преграды. А по ту сторону прозрачной стены продолжает резвиться намеченная ею жертва. И не только рыбы, даже волна поворачивает всячь, как только она соприкоснулась со Стеной.

Ракетоплан с двумя агентами поднимается в стратосферу. На высоте 50 000 футов радар снова предупреждает о сплошном барьере. Агенты снижаются, понимая, что им суждено погибнуть. Вместе с той половиной человечества, которая осталась по эту сторону волшебной брони. Снижаясь, они видят за прозрачной стеной огромный воздушный лайнер. Телескопический бинокль показывает пассажиров за большим ярко освещенным иллюминатором. Они танцуют.

— Ради этого стоило умереть! — говорит майор Эдвард Уэлтон своей спутнице.

— Будьте счастливы! — Капитан Марджит Обрайен плачет.

Заключительный кадр. Они решились умереть сразу, не дожидаясь медленной смерти, которая накрыла своим лучевым саваном четыре континента. Атомная подводная лодка погружается на дно Атлантического океана. Повинуясь электронной команде, открываются кингстоны, вода заливаает жилой отсек, поднимается все выше. По горло в воде, все четверо поют национальный гимн. Один из них последним усилием поднимает над водой руку с гравителеоном, затем экран заливаает тьма. Торжественная тишина. И на черном экране золотые титры:

«Телемортон показывал документальный фильм «Стена». Во второй декасерии вы увидите кадры, заснятые Куртом Бахманом и Сибиллой Бойона в Экваториальной Африке».

4.

Я долго не мог сдвинуться с места. Наконец, пошатываясь, побрел к выходу. Широкий, как улица, коридор кишел людьми. Как и меня, их, должно быть, обуревало одно только желание — поскорее добраться до своей комнаты, упасть на кровать — и спать, спать! Спать так долго, пока отдыхающий организм не переборет труп-

ный яд, который десять часов подряд впитывался каждой нервной клеткой, проникал в кровь, засасывался сердечными клапанами. Я не мог смотреть на живых людей. Они казались мне призраками, привидениями, выходцами с того света.

Главный поток двигался к лифтам. Я сначала тоже направился туда. В толпе промелькнула женщина с рыжими волосами. Тора! Это слово опять распахнуло один из запасников памяти, из него беспорядочным ворохом вывалились воспоминания — первая встреча в отеле «Уолдорф-Астория», вторая встреча на Бродвее, третья, когда Мефистофель представил ее в качестве звезды Телемортон. Женщина с рыжими волосами, мелькнувшая и исчезнувшая, пока я нерешительно топтался перед лифтом, была очень похожа на Тору. Но я ничего не почувствовал при виде ее — ничего, кроме ужаса.

После такого фильма естественно узнавать в чертах окружающих близких тебе когда-то людей, а теперь мертвецов. Я бы ничуть не удивился, если бы из двери со светящейся надписью «Ресторан-кабаре» вышел в золотом сверкающем комбинезоне Лайонелл Марр, или Мефистофель, или мой покойный отец. Их подлинники лежали на кладбище, а кругом были обитатели биодома, для которых фильм, в сущности, являлся только лишним напоминанием о Стене, благодаря которой они живы.

Спать? Я страшился этого. Сон дает отдых от переживаний дня, но сны повторяют их, иногда тысячекратно увеличивая.

Мои теперешние современники имели тридцать три года, чтобы пообвыкнуть — и со Стеной, и с тем, что произошло по ту сторону. Я — нет! Миллирентгены на датчике внешней радиации, глобальное время, празднично одетые люди в Новом Вашингтоне — разве я подозревал, какой ценой заплачено за это благополучие?!

Нет, куда угодно, только не в свою комнату, в ее замкнутые четыре стены, где я останусь наедине с кошмарами Судного дня...

Я повернул обратно и, затерянный среди возбужденных людей, двинулся к манящим надписям увеселительных залов. Не думаю, чтобы зрители после фильма очень жаждали наслаждений. Просто хотели поскорее хоть чем-нибудь перебить убийственный термоядерный вкус. Так же, как и я.

«Зал галлюцинаций» оказался темным помещением, настолько темным, что у меня не было никакого представления о его размерах. Я споткнулся о что-то, упал, почувствовал под собой пушистый ковер, а рядом чье-то тело. Мужское или женское, трудно было разобрать в темноте. Какие-то не то вздохи, не то бессвязные фразы доносились из темноты, а в промежутках такой же бессвязный смех. Я подумал было — звуковые галлюцинации. Но лежавшее рядом со мной сонное тело исторгло такой же непостижимый вздох, и я с новой надеждой принялся изучать темноту. Не могла же, ей-богу, быть у моих новых современников такая детская неприязнительность. Что-то сейчас должно случиться — над моей головой затанцуют радуги, или из стен выйдут крылатые боги, или хотя бы появится самый нормальный цирковой кудесник и предложит желающим разрубить их на десять частей, а потом снова воссоединить. Кто-то упал рядом со мной, и я увидел на фоне разреженной темноты тянувшуюся куда-то белую руку. Я тоже потянулся, мои пальцы нащупали поверхность столика, какие-то длинные трубки, нечто вроде чаши, а в ней маленькие шарики.

— А для чего эти шарики? — спросил я.

— Как для чего? Чтобы видеть нереальность, — ответил женский голос. — Если ты новичок, больше двух не советую для первого раза.

Я проглотил рекомендуемую дозу и весь сжался в ожидании результата. Вдруг брызнет ослепительный свет, я увижу мою соседку, а затем сквозь одежду и кожу необычайное дерево с красными ветками артерий и синими ветками вен. Именно таким красочным деревом мне запомнилось строение кровеносной системы со страниц анатомического атласа. Я его, действительно, увидел, и в тот же миг понял, почему шарики показались такими знакомыми на вкус. Это был ЛСД — наркотик моих дней, к которому меня в Стамбуле пытался приучить Джон Крауфорд. Боже мой! Этого мне еще не хватало после фильма «Стена»! Я знал, что последует за кровеносным деревом. Оно все выростало, ветви, извиваясь, обвинили Эйфелеву башню, и когда на горизонте показалось огромное солнце невиданного блеска, из разодранных веток полился красный и синий дождь. Цветными каплями он падал на Лувр, на Триумфальную

арку, на мосты через Сену, на прилавки букинистов, на автомобили, на людей — и все немедленно превращалось в грязную вонючую жижу, а по ней, разбрызгивая ее антирадиационными сапогами, шли четверо американских разведчиков с гравитемонами, похожими на проглоченные мною шарик.

Меня стошнило. Кое-как я нашел двери, а в коридоре — туалет. Потом долго умывался, высыхал под инфракрасным фонтанчиком, но меня опять и опять прошибал пот, и, когда я заглядывал в вертящееся зеркало, то находил в нем вместо своих глаз оптические линзы гравитемонов.

Браслет показался мне спасением. Вспомнилось, что буквы «ПБ» обозначали, согласно справочнику, плавательный бассейн. А может быть — паровую баню?.. Все равно, чем смыть с себя красно-синий дождь — паром или водой, мылом или серной кислотой, лишь бы смыть! Я перевел стрелку циферблата, и мой поводырь, словно заждавшись после долгого безделья, вихрем понесся по этажам, из лифта в лифт, от поворота к повороту, все ниже и ниже. Потом я оказался в совершенно пустом, должно быть, самом нижнем этаже. Стены, как и повсюду, где находились жилые помещения, были сплошными и абсолютно звуконепроницаемыми, словно за ними находились не люди, а воздух. Но как целительна, как блаженна была эта мертвая, по-настоящему мертвая тишина по сравнению с тем, что стереофоническим звуком в течение десяти часов несло со стен кинозала! Лишь те, кто находились в эпицентре взрыва, умирали молча. А остальные... Нет, лучше не вспоминать...

Мой электронный зайчик внезапно замер, потому что замер я. За звуконепроницаемой стеной раздался крик. Видно, рвота не выполоскала еще весь наркотик — галлюцинации продолжались. Хорошо, что я понимал это, иначе сошел бы с ума... А крик становился все громче, все страшнее. Стена неподалеку от меня раздвинулась, превратившись в дверь, и два металлических чудовища — не забавные четырехногие официанты на колесиках, а просто цилиндры с клещами на концах пружинистых щупалец — выволокли полуодетую женщину.

— Не хочу! Не хочу! — кричала она. — Дайте мне еще пожить! Хоть несколько дней!..

И тут я увидел еще и мужчину. Уцепившись за двер-

ной косяк, он пытался вырвать ее из металлических лап. Он тоже что-то кричал, но с человеческим криком его вой не имел ничего общего. Один из металлических столбов, медленно протянув щупальцы, отбросил его назад. Падая, мужчина сорвал с женщины рубашку, она сразу же обмякла, и роботы поволокли ее, как труп, по коридору.

Я побежал за ними — не для того, чтобы отбить женщину, в галлюцинациях, это я знал по опыту, обреченных не спасти, единственное, чего я желал — спасти свой рассудок. Пробежать еще десять футов, ну, пусть двадцать, а потом увидеть, как цилиндры и обнаженная женщина между ними растают в воздухе, со щемящим чувством неимоверного облегчения увидеть вместо них сплошную белую стену.

Это действительно случилось, но перед этим была еще одна, последняя галлюцинация. Столбы остановились, оба одновременно, издали похожее на ультразвук гудение, стена в одном месте раздвинулась, и, прежде чем весь фантасмагорический хоровод исчез за ней, я увидел в глубине помещения анабиозную капсулу.

А по коридору бежал полуодетый мужчина, и когда он добежал до места, где теперь уже опять была сплошная стена, он принялся биться лбом о стену, плакать и кричать:

— Я тоже!.. Я тоже!.. Пустите меня! — Может быть, он кричал и не то, но в галлюцинации только образы бывают пронзительно четкими, слова — никогда.

Я не обращал на него внимания, ведь это была галлюцинация, но сдвинуться с места я не был в состоянии. Мужчина, словно опомнившись, поколдовал над своим циферблатом, шарик у его ног превратился в стрелу, стрела бросилась на стену, стена распахнулась: за ней больше не было ни роботов, ни женщины, лишь готовая принять новую жертву анабиозная капсула.

А рядом с капсулой — это было уже слишком даже для галлюцинации — стояла хорошенькая девушка в белом комбинезоне с золотыми буквами на груди «Биомортон».

Стена бесшумно задвинулась. Галлюцинация кончилась.

Минут десять я отдыхал, лежа прямо на полу. Потом поднялся. Не знаю, для кого и для чего предназначался

этот дом-город, где можно было бесплатно есть, пить, наслаждаться кино и наркотиками, но для меня, человека из далекого прошлого, это было самое неподходящее место. Я знал; что даже без помощи ЛСД мне после сегодняшних галлюцинаций не избежать их повторения. Пусть в иных вариантах, пусть не таких страшных, пусть даже гротескных, но пока я нахожусь в этом здании с бесконечными коридорами и сплошными стенами, мне каждый день заново будут являться те же кошмары. Надо уходить, пока не поздно.

Подниматься в свою комнату за справочником не хотелось. Я стал наугад искать выход. В конце концов ничего страшного. Извинюсь перед биомортоновской медсестрой, скажу, что дом отдыха чудесный, но не для моих шатких нервов, узнаю от нее, как добраться до ближайшего полицейского, и пусть государство или мои наследники, или кто-то там из заинтересованных лиц, делают со мной все, что угодно. Пусть запрут в тюрьму и запрячут под железной маской как побочного брата какого-то французского короля, но в этом доме я не останусь. Ни часа!

На первом этаже я не нашел никаких дверей, на втором тоже. Люди попадались очень редко, я не решался к ним обращаться, а когда однажды все же спросил: «Вы не скажете, где выход?» — парень в фиолетово-желтом комбинезоне принялся хохотать до упаду. Решив, что он мертвецки пьян, я оставил его в покое. В конце концов, если существуют лабиринты, то должны существовать и способы выбраться из них без дорожного указателя на каждом перекрестке. Спустил час я опять не выдержал и спросил проходившую мимо женщину. Она тоже рассмеялась, но не так, как парень, видимо, решила, что это предлог завязать знакомство.

— Выход? Там же, где вход! — сказала она кокетливо с двусмысленной улыбкой. — Ты сначала войди, а там посмотрим, выпущу ли я тебя!

— Дверь! — повторил я тупо. — Где дверь?

— Моя? Давай сначала договоримся: сегодня дверь служит входом, а выходом — только завтра утром. Я не любительница блиц-турниров.

Я отпустил неприличное слово и, сопровождаемый ее звонким смехом, пустился бежать. С каждым новым этажом, с каждым новым поворотом я бежал все бы-

стрее и быстрее. Меня преследовало беспочвенное, но в моем состоянии вполне объяснимое подозрение, что это санаторий, куда наряду с нормальными допускаются и помешанные.

Прошел еще час. Я уже спрашивал кого попало о выходе. Сейчас меня самого принимали за помешанного, потому что я буйствовал. Врывался в какие-то причудливые помещения, в оформленные под витрину комнаты любви, в роскошнейшие рестораны-дансинги с ослепительными танцовщицами на вертящейся сцене, в темные залы, где по потолку пробегали изумительные световые сочетания, задыхаясь, промчался мимо огромного плавательного бассейна с тысячами бледно мерцающих в интенсивно синей воде мужских и женских тел, попал в парк с тропическими растениями под бесконечно высоким прозрачным потолком. Всюду были стены, полы, крыша и ни одного выхода.

Разум приказал мне остановиться. Я прислонился к стене и долго, очень долго внушал себе: «Очнись, Трид! Это ведь галлюцинация! Неужели ты совсем спятил? Ведь не бывает домов без дверей!»

Это немного помогло, но не надолго. Около минуты я мог ясно различить грань между реальностью и иллюзией, даже поставил стрелку на букву «К» и послушно пошел за своим провожатым. Уж он-то существовал, хотя бы потому, что в двадцатом веке такие технические чудеса не были доступны самому больному воображению. Стрела побежала вперед, я покорно пошел следом, оглядываясь, не попадет ли на пути световая надпись: «Выход». Сейчас я ведь опять был почти нормальным и не мог пробежать мимо.

И тут я увидел Тору.

— Тора, — сказал я, — как ты тут очутилась?

— Как все! — она засмеялась своим неповторимым смехом, который сначала резко выстреливал в потолок, а потом медленно падал, словно на парашюте, позванивая серебряными колокольчиками.

Я обнял ее, припав губами к молочно-белой шее. Только сейчас я осознал, как истосковался по женщине. Я чувствовал, что и ей это приятно, но тем не менее она со смехом освободилась:

— Здесь, в коридоре? Для этого существуют комнаты или «Зал любви».

Я хотел сказать ей свое мнение об этом мерзком зале, но ее позвали. Целая стайка молодых ребят, и самый высокий из них, похожий на голливудского Роберта Тейлора моих дней, повелительно сказал:

— Пошли, Тора! Мы опоздаем на сеанс.

— До свидания! — она, убегая, махнула мне рукой. — Еще увидимся!

— Куда ты, Тора? — крикнул я, чуть не плача.

— В Телемортон!

Я видел, как она обернулась, чтобы еще раз помахать рукой.

— Не ходи, Тора! Тебя там убьют! — мой истерический крик прокатился по всему коридору.

— Что с ним? — уже совсем издали донесся ее сочувственный голос.

— Не обращай внимания, Тора! — это был высокий. — Он из зала галлюцинаций!

Я мгновенно отрезвел. Ну, конечно, опять галлюцинация — совсем как я ожидал. Худо мое дело, если мерещится даже Тора. Сейчас для меня единственное лекарство — спать. А завтра я сначала покажусь врачу, а потом уйду. Может быть, они мне даже дадут продукты в дорогу, ведь путевка останется неиспользованной.

Стрела довела меня до моей комнаты. Войдя в нее, я сразу же почувствовал облегчение. Даже хватило сил, чтобы принять душ. Потом я лег спать и сразу же заснул. Напрасно я опасался мучительных сновидений. Их просто не было — никаких.

Я проснулся бодрым и свежим, а когда увидел у кровати свое милое светлое пятнышко, даже пожалел его. Ведь сколько миль ему пришлось вчера гнаться за помешанным хозяином! Я протянул руку за справочником. В таком упорядоченном и автоматизированном здании двери тоже должны иметь свой шифр. Только упавшему с Луны человеку могло прийти в голову искать самому, когда достаточно поставить стрелку циферблата на нужную букву. Посвистывая, я принялся штудировать справочник. Дверь я нашел в самом конце. Одну-единственную. Она обозначалась четырьмя буквами «ДВАБ». Дверь в анабиоз!

Сначала я напился, потом встретил какую-то женщину и пошел к ней. Может быть, это была та, с зелеными глазами, которая советовала не пропустить «Стену», но скорее другая — соблазнительница с двусмысленной улыбкой. Я узнал от нее много полезного. Например, почему в коридорах так мало людей. Оказывается, в нормальных условиях люди живут чрезвычайно скученно. Комнаты, конечно, очень удобны: с уходящими в стену двухъярусными кроватями, со столами и стульями, которые можно за ненадобностью отправлять обратно на потолок, с умывальной нишей, где один и тот же кран снабжает и водой, и струей инфракрасного горячего воздуха, и жидкостью для протирания пластмассовой мебели. Но в каждой комнате не меньше шести человек.

— Именно из-за этого я согласилась на анабиоз, — сказала она, потягиваясь на широкой кровати. — Проснуться через пятьдесят лет, перенестись из нашего муравейника прямоком в бескрайние необжитые просторы Азии или Европы, разумеется, тоже заманчиво... Но это когда — в далеком будущем! А целых три месяца в отдельной комнате, с отдельной ванной, с полнейшей свободой — какого мужчину хочешь, того и приводи — это реальность... Честно говоря, я почти не выхожу, разве только в кино или Зал любви... Мне и так слишком хорошо... Вот, например, сейчас — обнимаю тебя, а сама боюсь... Вдруг проснусь, и окажется, что все это сон... Никакого Биомортон, никаких биодомов, впереди сорок, пятьдесят, семьдесят лет без всяких изменений!

— Почему без изменений? — Помнится, я сказал нечто в этом роде. — Можно переехать в другой город, просто отправиться в путешествие...

— Ну и шутник ты! — она рассмеялась. — Это хорошо. Я не люблю чересчур серьезных мужчин... Ну, допустим, насчет одного жилища на всю жизнь я действительно преувеличиваю... Можно выйти замуж, а если седьмой или восьмой в комнате, со временем дают другую. Но уже на всю жизнь. Подрастут дети, переженятся — и все в тех же четырех стенах... Кроме своего города да тех, что изредка показывают по Телемортону, ничего не увидишь... Даже вспоминать не хочется... К

счастью, это все уже в прошлом. Знаешь, сколько у меня еще дней осталось? Целых сорок два...

Я не помню ее лица, но помню блаженно раскинутые во всю ширину кровати руки.

Напрасно я ушел от нее. С ней было бы, наверное, лучше — она была так довольна, даже общественная система ей в общем нравилась. Почти нет разводов, совершенно нет самоубийств, людям живется значительно лучше, чем в прошлом веке.

Я ушел от нее, и снова напился, и долго брел по анабиозному городу, пытаюсь понять, почему из него все-таки нет выхода. Случайно я натолкнулся на библиотеку, увидел книги в металлических переплетах, схватил одну из них, как спасательный круг, и сразу же заснул...

— А почему все-таки не выпускают из этого дома? — спросил я. На какую-то минуту мне показалось, что я все еще лежу рядом с той женщиной.

— Чего вы хотите? — в голосе слышался скрытый упрек. Я окончательно проснулся, поднял с пола упавшую книгу и посмотрел на женщину. Она совсем не походила на ту, от которой я ушел. Очки, старомодное платье, на обтянутых шерстяными чулками коленях тяжелый фолиант.

— Ничего не хочу! — пробормотал я. — Оставьте меня в покое!

— Это просто неразумно, — она была явно рада вступить с кем-нибудь в разговор. — Государство тратит огромные деньги на то, чтобы мы в течение трех месяцев получали любое удовольствие, доступное только самым богатым. Даже книги! Я тут прочла столько, сколько за всю жизнь не читала. — Решив, что держать огромный том на коленях все-таки неудобно, она бережно положила его на журнальный столик. — И вдруг вы или кто-нибудь другой, особенно из молодых, которые сами не знают, чего хотят, заявляют: «Я передумал». Нет, я считаю, что все правильно. Пришел, пропустили тебя через внешний корпус, закрылась за тобой дверь, и — все! С прежней жизнью попрощался, никаких телеэкранов с последними известиями, никакой переписки с родными — для них ты уже в анабиозе. Разрешите доступ родственникам, и полдома убежит. «Не уходи, без тебя не могу жить, дорогой!» «Дорогая, я уже почти догово-

рился, у тебя будет отличная работа, не где-нибудь, а в гравидоме, там и посмотришь все эти эротические фильмы, и вина там сколько угодно, и марихуаны...» Слезы, обмороки, истерия. «Выпустите меня!» А через месяц будут с плачем проситься обратно.

Странное существо — человек. Мне бы слушать и слушать. Не задавая ни единого вопроса, я бы узнал многое. Чувствовалось, что ей, серьезной, немолодой женщине, не с кем поговорить. Но вместо того, чтобы остаться, я схватил книгу и пошел. Только до дверей. Едва я переступил порог, как книга полетела обратно.

— Они намагничены, — сказала очкастая. — Мне это тоже не нравится. С куда большей радостью читала бы у себя... Но что вы хотите? Огромная ценность, а наше государство хоть и богато, но не настолько, чтобы швырять на ветер тысячи... Вы знаете, когда вышла последняя книга? — она горестно покачала головой... — Нет, конечно, не знаете... Люди вашего поколения вообще ничего не знают... Я когда-то преподавала, а сейчас... вы же понятия не имеете, что означает это слово. Хотя... — она внимательно посмотрела на меня. — Вам сколько лет?

Я подсчитал в уме. Получалось — около 85. Только сейчас эта цифра дошла до моего сознания. Погибни я действительно во время землетрясения, моя жизнь кончилась бы на 45-м году. А сейчас передо мной раскрываются поистине грандиозные перспективы. Через 88 дней я опять лягу в анабиоз и проснусь уже стотридцатилетним... Но почему ждать так долго? Сквозь ДВАБ можно пройти в любое время. Не обязательно дожидаться истечения срока. А уж срок никак не пропустишь. Браслет перестанет действовать, стрела автоматически поведет тебя в одном-единственном направлении. А по истечении тридцати минут за тобой придут два цилиндра. Доставят тебя на место, уложат в капсулу, а когда закроется крышка, биомортоновская девушка в белом комбинезоне крикнет: «Гарри Филиппо, штат Мату-Гроссу, территориальная единица 1227!» Механический голос с потолка объявит номер твоей капсулы, сектор и горизонт. А другая биомортоновская девушка в белом, похожем на церковь в приемном покое уже назовет новое имя, и тот же механический голос укажет номер твоей бывшей комнаты.

— Простите, вы взяли книгу, которую я вчера начал читать!

Характерное лицо, волосы почти совсем седые, комбинезон неброской, темно-серой расцветки. Стариком он не был, но тоже не молодой — такие ископаемости, как книги, очевидно, не привлекали современную молодежь.

Именно в эту секунду для меня связались воедино два как будто совершенно различных факта. Войн больше не существовало, а прокормить, обеспечить бесплатной комнатой и мало-мальскими развлечениями семь миллиардов — трудная проблема. Произошел давно предсказываемый некоторыми учеными моего времени демографический взрыв. Другие ученые считали их мрачными пророками, я тоже. Мне всегда казалось, что, если государство существует для людей, а не наоборот, тревожиться за будущее нечего. А сейчас я на собственной шкуре познавал единственный выход из положения — анабиоз. Теперь было понятно, почему к огромной лжи о моей смерти примешалась маленькая ложь. Я вспомнил слова телемортоновского диктора: «Под песком сохранился в целости биобарометр, непреложно доказывающий, что до момента катастрофы анабиоз протекал успешно». Движение за уход в полувековое небытие только начиналось, люди, возможно, еще колебались. Использовать даже легенду о моей смерти для пропаганды — это сверхгениально!

— Простите, разве вам эта книга кажется смешной? — Мужчина с полуседыми волосами растерянно глядел на меня.

Выходит, я громко смеялся. И как-то машинально раскрыл при этом книгу.

— А что? — я впервые взглянул на обложку и вздрогнул: Ноа Эрквуд — «День между субботой и воскресеньем». Написанный Мефистофелем в юности философский роман, за который я прощал ему многое.

Однажды утром герой, заглянув в календарь, обнаруживает лишний день. День, когда он может быть не таким, каким жизнь вынуждала его быть, а каким хотел — любящим и любимым, отзывчивым и благородным, прощающим и непреклонным... Двадцать часов он упивается этой возможностью. Три — тяготится. А в течение оставшегося часа никак не может дожидаться минуты, когда сумеет надеть удобную, тесно облегающую

смирительную рубашку привычки. Наутро приходит Судьба: «Продержись ты последний час, вся твоя будущая жизнь была бы, как этот день между субботой и воскресеньем». Герой отвечает: «Будущая жизнь? Много ты знаешь! Ее бы вообще не было. Почему? Да потому, что у меня уже за полчаса до твоего прихода была заготовлена петля...» Сейчас, с полувекового расстояния, мне начинало казаться, что Мефистофель писал о себе. Недаром он в молодости был и религиозным проповедником, и социалистическим оратором... Грустный роман!

Я опять рассмеялся. Забрести в пьяном виде в библиотеку и наугад схватить именно его книгу! Какая ирония!

— Сколько вам осталось до анабиоза? — мужчина сочувственно заглянул мне в глаза. — Бывает, у некоторых в последние дни начинается нечто вроде опьянения: хочотч до слез и без всякой причины.

— Я только вчера пришел.

— Тогда непонятно... Мне лично, когда я читал книгу, хотелось скорее плакать, чем смеяться. Ноа Эрквуд был провидцем...

Мы познакомились. Его звали Виктором Тэллером.

— Давайте выпьем по этому поводу, — предложил я. Меня мучило похмелье. Кроме того, вид намагниченных книг наводил на меня уныние. В свое время я сам не очень дорожил ими. Сейчас они стали величайшей ценностью для немногих, потому что для многих уже перестали быть ценностью.

Он согласился, хотя видно было, что ему жаль покидать библиотеку. Уходя, он запрятал роман за другие тома.

— Опять кто-нибудь вроде вас возьмет наугад, а я так и не дочитаю до конца. Нарочно не заглядывал в последнюю страницу. Но меня всю ночь мучил вопрос — выдержит ли герой все двадцать четыре часа?

Ресторан был тот самый, куда я ворвался вчера в поисках выхода. Виктор хотел забраться в угол, но я выбрал столик поближе к вертящейся сцене. Любая из танцовщиц в мое время могла бы стать «Мисс Америкой». Тут были и просто танцы, и танцы со стриптизом, и просто стриптиз. Но когда одежды одна за другой сбрасывались с классически прекрасного тела движением, которому позавидовала бы величайшая звезда класси-

ческого балета, забывались все остальные мерзости XXI века.

— Отличные куклы! — сказал Виктор, глядя вслед убегающему столику. На танцовщиц он не обращал никакого внимания.

— Куклы? — меня поразил его пренебрежительный тон. — В мое время... — опомнившись, я осекся.

— Ну да, отличные биокуклы! Я ведь больше десяти лет проработал на Телемортоне. Даже принимал участие в их усовершенствовании. Вы бы видели первые лабораторные образцы — улыбались, как третьеразрядные шлюхи. Пришлось изобретать особо эластичные лицевые мускулы. А те, которые сразу же после Стены использовались в фильмах, — те уже были настоящие. Мы им даже человеческие имена присваивали, чтобы отличить, а потом вставляли в титры... Все тогда думали — живые актеры, многие и теперь не знают... Ведь только в гравидомах и биодомах вы можете любоваться ими в натуре!

Столик почему-то замешкался. Пришлось ждать больше десяти минут.

— Это уже другой, — Виктор наметанным глазом осмотрел пластмассовую поверхность. — Слишком уж много названий вин вы надавали за раз... А ведь как мудро придумано — полуживых обслуживает полуживой персонал! Сколько трагедий удалось избежать таким образом!.. Представьте себе, вы влюбляетесь в танцовщицу, официантку или горничную, и она тоже, а через три месяца вас — в капсулу!

Я усмехнулся и заговорил о романе — ослепительные красавицы уже не будили во мне желания.

— Чертовски актуален! — он вздохнул. — После Стены государство было в положении человека с лишним днем, который мог превратиться в годы и века. Но остались богатые, остались нищие, правда, с недавнего времени они, благодаря анабиозу, имеют хотя бы надежду на будущее...

— Ну, если бы вы видели нищих моего... — я проглотил слово «времени» и заменил его осторожным «поколения».

— Вот именно! Нищие духом. А разве иначе может быть? Синтетическая пища — настоящая только для богатых. Никаких путешествий — на это пособия не рассчитаны. И, главное, никаких перспектив!.. Но даже с

этим можно было бы смириться, — Виктор залпом выпил стакан виски. — Тут все, конечно, натуральное — каждый анабиозник на три месяца превращается во владельца гравидома...

— А с чем нельзя смириться? — спросил я, вспоминая подземную лабораторию, где Мефистофель дал мне одним глазком заглянуть в грядущее. Так вот во что вылилось великое изобретение! Гравистена — для отгородившегося от остального мира государства, гравидома — для избранных.

— С ответственностью! В наше время мало кто думает, но если хорошенько подумать — ради чего погибла большая половина человечества? Нам говорят — ради безопасности и благополучия меньшей половины. Но я так не могу жить! Жена считает меня безумцем! А я все думаю — за мою жизнь кто-то по ту сторону Стены тридцать три года назад заплатил своей. А что, если его жизнь была значительно ценнее? Может, на мою долю пришелся гений, великий художник, мудрец? Или просто очень добрый человек... Это, пожалуй, даже ценнее, чем быть гением...

— И от этих мыслей ты бежишь в анабиоз? — Незаметно для себя я перешел на «ты». Он тоже.

— Едва ли ты поймешь, — он покачал головой. — У тебя другие причины, как почти у всех... Четыре огромных континента, где можно будет начинать жизнь заново, это все же не сравнительно благоустроенная тюрьма за гравитонной решеткой... Но я и сейчас жил в прекрасной квартире, мог бы иметь все, что недоступно другим... Моя жена — кибернетик, так что сам понимаешь, — аристократия рабочего класса. На один миллион — полсотни работающих, уж на них государству не имеет смысла экономить... Жена не хотела меня пускать... Для нее это целая трагедия: она, кажется, не очень доверяет анабиозу.

— А ты? — спросил я, вспоминая собственные сомнения.

— Не знаю, — он задумался. — Может быть, именно потому и согласился... Знай я стопроцентно, что оживу...

— Что тогда? — не понял я.

— Это не было бы искуплением, — сказал он очень тихо. А возможно, и не сказал. В эту минуту оркестр биокукол, заглушая человеческие голоса, взорвался

бешеным каскадом синкоп. Танцовщицы скинули с себя все до последнего, анабиозники бешено заплотировали, а потом на потолке появилась светящаяся надпись:

Следующее биоревю в 22 часа

Вскоре после этого Виктор ушел обратно в библиотеку. На прощание он сказал мне номер своей комнаты. Но я был уже настолько пьян, что цифра сразу же выскочила у меня из головы.

Я его больше никогда не встретил. Может быть, потому, что рай для полуживых был слишком велик, а может быть, ему уже вышел срок. Но мне уже тогда казалось, что он — один из немногих, которые уйдут, не используя путевку до конца.

А я все пил и пил. Кажется, даже допился до такого состояния, что орал в мембрану столика то ли свое мнение об Эре Стены, то ли страшные ругательства. В сущности, это было одно и то же. Тем более для моего четвероногого официанта, не знавшего ничего, кроме ста названий светового меню, на которые был настроен его звуковой рецептор. Он весь дрожал под шквалом крепких словечек, а потом, не выдержав, попросту удрал, как это сделал бы на его месте любой официант.

Но, возможно, все это мне только почудилось. Ведь недаром я уже не отличал живых людей от кукол. Потом я бессмысленно петлял по коридорам, временами останавливался и, прислонившись к стене, чтобы не упасть, пытался понять, куда делась моя комната. О том, чтобы повернуть стрелку на браслете, не могло быть и речи. Даже световое пятно то раздвигалось, то совсем исчезало.

Я уже приготовился заночевать на полу, когда опять увидел Тору. Она была далеко, на том конце, а рядом с ней похожий на Гарри Купера долговязый парень.

— Тора! — хотел я крикнуть, но язык не слушался.

Где-то вдали стена раздвинулась, она исчезла за ней, парень завернул за угол и тоже пропал.

Я добрался до конца коридора и принялся искать ее комнату. Мне показалось, что я нашел место, где она исчезла, и я долго стучал в стенку, уговаривая ее впустить меня.

Она не открыла.

Мне было уже на все наплевать, я поставил стрелку циферблата на «ДВАБ», стена почему-то сразу раскры-

лась, мне навстречу выбежали цилиндры и уложили в готовую капсулу. Все-таки лучше, чем ночевать на полу! — подумал я и тут увидел склонившуюся надо мной Тору. Она была прекрасна, как никогда, ее пламенные волосы волнами падали на белый комбинезон с золотой надписью «Биомортон».

— Тридент Мортон, штат Нью-Йорк, Пятое авеню! — объявила она запоминающему устройству.

— Дура! Такого нет в биосписках! — заорал с потолка металлический голос.

Цилиндры уже запустили свои щупальцы в капсулу, чтобы вытащить меня, но я отчаянно отбивался. Ведь я знал, что немедленно потеряю Тору, как только снова окажусь в огромном лабиринте коридоров, лифтов, увеселительных залов...

6.

Я проснулся в своей комнате. Голова, в отличие от прежних пробуждений, совсем не болела, похмелье было скорее духовным и не мешало думать. Я уже решил про себя, что анабиозный дом, несмотря на его кибернетические ужасы, все-таки самое лучшее место для того прыжка из прошлого в настоящее, за который так тревожился Мильтон Анбис. Здесь я сразу получил концентрат всего, чем отличается эпоха — от удовольствий до отчаяния. Доза была почти убийственна для новичка, но первые, самые опасные дни уже позади. Если я собирался выжить в этом мире, то куда мудрее сразу окунуться в него.

Нигде не представлялась такая уникальная возможность узнать так много в такой короткий срок. Например, та же «Стена». По Телемортону показывали одну серию в месяц, и то до последнего декалетия. С тех пор показ для обычных смертных был запрещен. То же самое относилось ко всем другим слишком мрачным, с точки зрения сегодняшнего благополучия, лентам. А здесь, в специальном зале «Телемортон» наши старые видеопленки демонстрировались круглосуточно. Кроме того, в биодоме на фоне других, куда больших дийовин, мои странности не были так заметны. Почти ни один анабиозник не видел до сих пор ни живых биокукол, ни сто-

лов-самобранок. Для большинства даже само понятие «робот» смахивало на сказку. Людям нечего было делать, они лезли из кожи вон, чтобы придумать себе хоть какое-нибудь занятие. Даже электрические бритвы и пылесосы моего времени были поэтому выброшены на свалку. Здесь, где все чему-то удивлялись, и я мог себе позволить высказывать удивление, не рискуя быть сочтенным за полупомешанного. Здесь все, в сущности, были немножко тронутые. Вера в анабиоз чем-то походила на веру в загробный мир у людей моего времени. Телемортон уверял их, что они воскреснут, Телемортону верили, но все же втайне сомневались. Неистовость, с которой набрасывались на увеселения, любовь, еду, наркотики, не была естественной. То был пир во время чумы, хотя редко кто признался бы даже самому себе в этом.

Этим утром прежний Тридент Мортон, который, воспользовавшись страхами неведомого мира, залез было обратно в меня, умер. Окончательно и бесповоротно. Не для того я на пятьдесят лет ушел из жизни, чтобы снова напиваться, обнимать случайных женщин, а потом презирать и их, и себя. Я буду по-прежнему ходить и в бесчисленные рестораны и бары, и в комнату галлюцинаций, и даже в комнату любви — но так, как медик в анатомический зал! Останусь здесь по возможности дольше: а там — посмотрим. Перспектива перейти из одного анабиоза в другой уже сама по себе была не из приятных. Но мне впервые захотелось жить, чтобы крушить и ломать, топтать и жечь, а потом плясать на обломках. Я негаданно вспомнил свой гороскоп. Как там было? Врываться в самую структуру эпохи. В ее лицемерное благополучие, в ее глобальное время глобального обмана, где куклы становятся кинозвездами.

Только теперь я открыл глаза. Что-то в моей комнате изменилось. Прямо перед кроватью стояла на мольберте большая картина. Виктор говорил мне вчера, что здесь исполняется практически любое желание, но ни в какой Зал заказов я не заходил, никакой картины не заказывал. Я приподнялся, чтобы лучше рассмотреть ее.

Небо с незнакомыми созвездиями, причудливый свет, исходивший как бы из-под земли. Немного приподнятая над ней платформа, внизу черный провал бесконечной шахты. На платформе открытая капсула, вокруг нее уди-

вительные существа. Почти люди, но с бессмысленными личиками и тоненькими ручками. А в капсуле — только что ожившая Тора. Нагое тело почти скрыто длинными красноватыми волосами. На него падают бледные тени странных существ и слабые блики подземного света. Лицо еще мертвенно бледно, но глаза уже живут. В расширенных зрачках не чувствуется ни изумления, ни ужаса. Неизбежность страшного мира — вот что я прочел в воскреснувших глазах.

— Доброе утро! — услышал я за спиной. — Никогда до сих пор не представляла себе, что можно так напиваться!.. Ты стучал так громко, что даже сквозь стену было слышно. Я вышла, но ты уже спал. Прямо на полу. С трудом втащила тебя в комнату... С моей стороны это, конечно, глупо. Надо было оставить тебя в коридоре... Между прочим, откуда ты знаешь мое имя? Помнишь, позавчера я шла на «Телемортон», ты впервые в жизни увидел меня — и вдруг назвал по имени?.. А потом кричал что-то бессвязное... И сегодня ночью тоже... Будто меня застрелили и похоронили в «Пантеоне бессмертных». А потом тебе казалось, что я биомортоновская служащая, и ты кричал, чтобы я поскорее сняла этот проклятый белый комбинизон, и все такое...

Я пытался воссоздать образ той Торы. На миг он подобно миражу повис в воздухе и тотчас развеялся. Недаром, я даже в те времена вспоминал одни лишь внешние признаки — волосы, смех, какое-нибудь движение.

— Теперь вспомнил? — она провела рукой по моему лбу. — А я сразу поняла, откуда это у тебя... Позавчера мы смотрели в кино старые видеопленки, и ту тоже, где мой дед убивает мою бабушку во время первой телемортонской передачи... Ты был на одном из сеансов, потом пошел в зал галлюцинаций, и когда увидел меня... Правда, я на нее очень похожа?

Ее руки были мягче, чем у Торы, и лицо тоже мягче. И совсем другие глаза. И вся она была совсем другая, только очень похожая. Те же волосы, движения и голос.

— В наше время это не такая редкость. У нас шутят, что даже гены стали стабильны — утратили способность обновлять наследственные матрицы... Между прочим, тебя тоже показывали. Ну, конечно, не тебя самого, а твоего двойника. Помнишь, как Тридент Мортон стоит

на коленях у ее тела? Должно быть, очень любил ее, — она присела на кровать и обняла меня.

— Тора! — выдохнул я, и было даже немного больно, что давным-давно умершая чужая женщина, которую я никогда по-настоящему не любил, так похожа на нее. Тора Валеско принадлежала своему времени, всю свою жизнь она продиралась сквозь джунгли — чикагские, бродвейские, телемортонские, каждый ее поцелуй, хотела ли она того или нет, был приманкой охотника и вкусом зверя. Нежность была ей неведома, как и мне.

Я взял мягкую руку в свои пальцы и коснулся ее губами. И мои губы тоже стали теплыми и мягкими, и медленно двинулись по загорелой коже, пока не коснулись ее губ. А потом что-то во мне приоткрылось, я был прозрачной невесомой оболочкой, а когда в нее хлынула нежность, меня рвануло вверх, сквозь прозрачную крышу биодома, прямо в небо.

— Ты плачешь? — спросила Тора.

Я не отвечал. Во мне больше не было сил. Ни для того чтобы повторить этот вечный полет, ни чтобы сказать хоть слово. Но я чувствовал на своих мокрых ресницах благословенный двадцать первый век, подаривший мне такое чудо. Нежность умирающего мира, которая дарилась на тысячелетия вперед, потому что в них люди уже разучатся любить.

Вот о чем говорила картина. Мир был обречен. Мир Стабильной Системы — аквариум с тепловатой водичкой, где бедные золотые рыбки знают об океане человеческих страстей столько же, сколько люди моего времени знали о мире без войн за омытой апокалипсическим потоком крови гравитонной стеной.

А спустя полчаса я вспомнил, где мы находимся, и проклинал все на свете.

— Почему ты пришла сюда? Почему? — Я чуть не ударил ее, так невыносима была мысль, что я встретил ее здесь, а не в пустыне. В пустыне или на леднике. Вдвоем мы бы выжили повсюду — даже на леднике, а здесь она была обречена, если только мне не удастся вырваться.

— Я ведь не упрекаю тебя, — сказала она мягко. — Ведь ты тоже мог встретить меня раньше. Но скорее всего, никогда не встретить... Пятьдесят лет разлуки — что это по сравнению с теми днями, которые мы прожи-

вместе?.. Я думаю о том, что было бы со мной, если у тебя в тот вечер не было бы галлюцинаций и если бы я не была так похожа. Ты принял меня за Тору Валеско и остановился... Просить у судьбы больше было бы нечестно... Я всегда ненавидела Телемортон. И его ужасную «Стену», и тот небесный кисель, которым нас кормят сейчас. Утверждают, просто у людей отпала надобность, но мне всегда кажется — в том, что у нас больше нет ни книг, ни настоящей музыки, ни искусства вообще, виноват Телемортон. Но без Телемортонна мы бы не встретились..

Как это случилось? Я заглянул в бездну прошлого. Я стоял у самых истоков и лучше ее понимал, как она права. Но этот ужасный прыжок от обывателя, переставшего читать газеты и книги из-за Телемортонна, к полунинтеллигенту, говорящему о них, как мы в свое время о египетских папирусах?!

— Живопись по крайней мере осталась, — сказал я, разглядывая ее картины. Их было немного, все в той же манере, как и только что законченная. Я загляделся на одну. Белые сверкающие глетчеры, узкая полоска бледного неба, перехваченная лентой северного сияния, а на этом фоне неправдоподобно черная негритьянка. Так вот отчего я представил себе нас вдвоем среди ледников, веря, что и там было бы лучше, чем в этом райском доме.

— Тебе нравится? — Тора погасила свет. Негритьянка ожила, вздымавшийся до неба лед засверкал нестерпимой белизной, полярная радуга заиграла тончайшими переливами. Краски были иные, чем в мои времена. Не только светящиеся, но как будто живые. — Телемортон назвал бы это полотно «Негры осваивают Гренландию». Когда туда выслали сначала полинезийцев, а потом всех желтокожих, меня еще не было на свете. Но великий исход негров потряс меня. К тому времени их было уже несколько миллиардов. Целые города обезлюдели за несколько дней, пока их не заселили белыми... Говорят, что там создали искусственный климат, что им там живется очень хорошо, но по Телемортону ни разу не показывали Новую Гренландию... Я понимаю, нас слишком много, но почему мы вечно от кого-то отделяемся?.. Вот почему я увидела вместо гренландских субтропиков огромный ледник!..

Она снова зажгла свет.

Мне хотелось сказать, кто я такой, но я боялся. Тридент Мортон, стоявший на коленях возле ее умирающей бабушки — это было бы равносильно пушечному выстрелу. Я проклинал себя за то, что родился на шестьдесят лет раньше. Воскресшая мумия, которая имеет право на суеверное почтение, но не на нежность.

Я осторожно притронулся к ней, услышал сквозь кожу пульс и испугался. Часовой механизм, отстукивающий секунды. Каждый удар был обращенным к беспощадному времени криком.

— Сколько тебе еще осталось? — спросил я сквозь зубы.

— С тобой — много! — она улыбнулась и заговорила о другом. — Значит, и ты считаешь, что живопись еще существует? Причудливое переплетение световых линий, среди которых иногда мелькает намек на лицо, или дерево, или дождь? В детстве я тоже смотрела на них как зачарованная. В те часы, когда Телемортон транслировал светопись, меня нельзя было оторвать от экрана. Но однажды во мне как будто что-то проснулось. Мир хотел войти в меня, и пройти через меня, и снова показаться... В прошлом веке я бы стала художницей.

— Ты и так ею стала! — сказал я, уже понимая, почему каждое из ее произведений равно по силе целой картинной галереи.

— Только теперь, в биодоме, — она хотела усмехнуться, но ей это не удалось. Даже ее горечь была мягкой. — Ты, конечно, понятия не имеешь, сколько сейчас стоят краски, их просто нет в продаже... Производить вещи, без которых обходится большинство, считается неразумным. В первые годы после Стены книги, например, еще выходили, но лишь до тех пор, пока Логос не подчитал, что их читает каждый двадцатый.

Так я впервые услышал о Логосе. Мыслящий электронный мозг, управляющий, в сущности, всем государством. Тора могла о нем рассказать не слишком много. Он был запрятанным в восемьдесят подземных этажей Пирамиды Мортонна полумифом. Но я догадался, что произошло. Великий мудрец, о котором мечтал Мефистофель, из советчика почти незаметно превратился в деспота.

Я новыми глазами посмотрел на картины. Дело было вовсе не в похожих на медицинские шприцы цилиндри-

ках, из которых цвет словно выбрызгивался уже вместе с глубиной и светом, а в чудовищной цене, которую Торе пришлось заплатить за возможность создавать картины. Это была ярчайшая вспышка при переходе из одной пустоты в еще большую — из потерянного прошлого в потерянное будущее.

Я обнял Тору, она всем телом ушла в мои руки, между нами на полчаса опять не было ничего — ни моей прежней жизни, ни Логоса, ни биодома.

— Не жалею меня! — она лежала с закрытыми глазами, глядя куда-то внутрь себя и к чему-то прислушивалась. — Я получила от жизни все, что хотела, — шесть картин и тебя... Неправда, семь! Последняя еще не закончена, но...

— Последняя? — спросил я и сам не услышал своего голоса. Часовой механизм — единственная мера счастья и горя — застучал и во мне, с каждым ударом все громче и невыносимее.

— Ты меня не понял, — она открыла глаза и улыбнулась из-под полуопущенных век. — Сейчас у меня уже не будет времени на живопись. Я не так расточительна, как тебе кажется. Но эту последнюю все-таки надо закончить. — Она освободилась из моих рук и, соскользнув с кровати, повернула полотно.

Странно, что я сразу узнал его. Тысячи встреченных в биодоме людей так и остались тенью, хотя некоторых из них я разглядывал подолгу, например, посетителей ресторана «Робот». Он был одним из них — моложавый блондин в дальнем углу. И запомнил я не столько его лицо, сколько смех. Я уходил из зала последним, в зале оставались только временно мертвые столики и огромная световая надпись «Стена» — и он.

На этот раз картина была безо всякой фантастики. Реальная плоскость с той же светящейся надписью, а в полумраке обращенное к ней румяное лицо под светлыми пушистыми волосами. Но была какая-то несуразность в портрете. Не то очень старые глаза на молодом лице, не то застывшие в еле заметной улыбке губы.

— Какой ужасный смех! — сказал я.

— Значит, ты это тоже заметил! — Тора даже обрадовалась. — Я боялась, что не донесу. Если бы он по-настоящему смеялся, было бы совсем не то. Тут, с точки

зрения художника, самое главное — передать несоизмеримость маски и настоящего лица.

Негромкая трель заставила ее повернуться. Звук исходил из зеркала. Точно такое же висело в моей комнате, я несколько раз заглядывал в него, не обращая никакого внимания на цветные кнопки.

— Это он! — она быстро накинула халат и, поправив волосы, нажала одну из кнопок.

И тут самое простейшее из всех чудес биодома привело меня в крайнее замешательство. В зеркале по-прежнему отражалась наша комната, но вместо стоявшей перед ним Торы — человек с последней картины. Лишь секунду спустя, заглянув вглубь, я осознал свою ошибку. Комната была такой же — все десять тысяч одиночных раев биодома повторяли друг друга с предельной точностью. Но это была чужая комната. В ней не было картин и женских безделушек. В ней не было ничего, кроме комфортабельной мебели и адского холода.

— Я жду тебя! — сказала Тора. — Приходи поскорее! Человек с картины не ответил. Он в упор смотрел на меня.

— Почему ты на него так смотришь? — испуганно спросила его Тора. — Это мой друг... Кстати, вам не мешало бы познакомиться... Суеверные люди считают, что знакомство по телеону приносит счастье.

— Гарри! — представился я и улыбнулся, чтобы заглушить смутное беспокойство. Мне было не по себе.

Но он уже отключился.

— Как его зовут? — спросил я с непонятной тревогой.

— Это не имеет никакого значения! — Потом, после долгой паузы: — Эдвард не придет. Я поняла это, как только он увидел тебя.

— Ну и пусть! По-моему, это тоже не имеет значения.

— Гарри, постарайся понять! — Она опять закрыла глаза. Слишком уж часто она закрывала их. — Я бы не впустила никого, и тебя не выпустила бы — слишком дорога мне каждая минута. Но эту картину, свою последнюю картину, я хочу кончить. Все, что я думаю о будущем, я сказала в той, — она показала на окруженную выродившимся человечеством капсулу. — А этот человек... Я увидела его на прошлой неделе и сразу же почувствовала — это наше время, вся его беспримерная трагедия. Довольная улыбка — ведь все так хорошо, так

стабильно. И страшный смех над самим собой — чтобы поддержать эту стабильность, половину человечества приходится заманивать в анабиоз всем, что так успешно искоренено в обычной жизни. Алкоголем, наркотиками, развратом и разгулом, телемортонскими фильмами ужасов.

Она очень беспокоилась, придет ли он, по несколько раз открывала дверь и выбегала в коридор. Поскольку самой притягательной силой биодомов была возможность побыть одному, дверь открывалась лишь изнутри. Ни один человек не мог проникнуть, не предупредив заранее о своем приходе по телеону. Беспрепятственно входили единственно роботы. Те, что в течение девяноста дней заботились о чистоте и комфорте жильцов. И те, что по истечении девяноста дней приходили за квартирной платой — самими жильцами.

Мне было до боли обидно, что она его так ждет. В данную минуту он был для нее важнее меня. Я понимал ее, но понимать не всегда означает прощать. Пусть в нем сидит хоть сто трагедий, для меня это все равно не перевесило бы трагедию нашей любви. Побывать вместе месяца или два, вести каждым поцелуем, каждым прикосновением жестокий счет оставшимся дням и минутам! Каждым моментом близости готовиться к почти вечной разлуке! Мне казалось — объявись сейчас сам Государственный секретарь, чтобы положить к моим ногам Пирамиду Мортон со всеми вытекающими из этого последствиями, и то я бы сказал: «Не сейчас! Оставьте нас вдвоем».

Но я утешал ее, как мог, говорил, что он непременно придет, что картина будет закончена, что это будет ее лучшая картина.

Наш телеон остался невыключенным, и когда на нем внезапно возникло его лицо, я испуганно отскочил от Торы. Это мне что-то напомнило, какую-то необычайно драматическую ситуацию, когда решалась не то моя судьба, не то судьба других. Желание прорвать во что бы то ни стало завесу, казавшуюся зыбким, легко пробиваемым туманом, и ее упорное сопротивление моим усилиям выводили из себя.

Это мучительное ощущение было все еще во мне, когда он пришел.

— Эдвард Кин, — представился он и, не обращая на

меня уже больше никакого внимания, принялся позировать. Казалось, что он вкладывает в это дело не меньше усердия, чем сама Тора. Моя смутная тревога постепенно рассеялась.

— Пожалуй, пойду прогуляюсь, — сказал я. — Я вам только мешаю.

— Нет, нет! — отчаянно закричала Тора. В ее мольбе мне послышалась боязнь остаться с ним наедине. — Гарри предпочитает светопись, — добавила она минуту спустя, уже с улыбкой.

— Я тоже, — сказал Кин. — Успокаивает нервы. Электронный светописец в первую очередь отобразил бы краски и контуры. Я бы превратился в красные квадраты и желтые конусы, синие струйки; в черные хвостатые линии, все это извивалось бы, танцевало, меняло выражение. Каждый почувствовал бы в моем портрете что-нибудь иное, сообразно своему собственному характеру... А то, что делаешь ты, Тора, вынес бы не каждый.

Он говорил спокойно и ровно, немного усталым, как бы бесцветным голосом, при этом румяное молодое лицо оставалось почти неподвижным. Сидел он очень прямо, пряча руки в широких карманах комбинезона. Мне казалось, ему лет тридцать или около того, и поэтому я сначала удивился ее работе. Она наносила на молодое, пышущее здоровьем лицо еле заметные морщинки, как бы выпиравшие из-под гладкой кожи. И с каждой новой морщинкой усиливалась аналогия с развалинами некогда цветущего города, покрытого ровными румянами вулканического пепла. И когда я внимательно пригляделся к оригиналу, пришлось с ней согласиться. Еще минуту назад Кин казался мне молодым. Сейчас я увидел — он очень, очень стар.

— Почему вы решились на анабиоз? — спросил я.

Он повернул голову, его старые, очень темные глаза остановились на мне.

— Сиди спокойно, Эдвард. Ты мне испортишь всю картину.

Он покорно отвернулся и принял прежнюю позу.

— В общем-то, вы правы. Удовольствия меня уже давно не привлекают, а надежда на лучшее будущее — тем более. Просто надоело жить.

— Это все война, — Тора принялась дописывать комбинезон. Черный блестящий синтетический материал

тесно облегал прямые плечи, но на картине почему-то появились складки. Они тоже были едва заметны, и тоже как бы под тканью, а не на ней.

Мне вспомнилось произведение одного художника моего времени — вздувшийся пузырем скафандр и в нем — сплюснутый огромным давлением водолаз.

— Война, которая не была настоящей, — улыбнулся Кин. Он глядел на меня и картины не мог видеть. Поэтому меня так поразило инстинктивное движение, которым он пригладил на плече несуществующие складки. Я понял, что и тут Тора была права. Несмотря на внешнюю неогорбленность, этот человек походил на горящий лист бумаги. Еще страница кажется целой, еще можно прочесть любое слово, а через секунду она сморщится и превратится в пепел.

— Да, почти игрушечной и поэтому куда страшнее для психики, чем настоящая. Нам нанесли только два удара — по Вашингтону и главной базе кассетных ракет. Не зная даже толком, кто их нанес, мы немедленно обрушили всю термоядерную мощь на каждый клочок Восточного полушария, включая Австралию.

— Ты ведь знаешь официальную версию, Тора! Это было необходимо, чтобы противник после возведения гравистены не мог выжить в оккупированных им нейтральных странах и спустя много лет, как только мы решимся выйти из укрытия, отомстить нам. Это делалось во имя жизни в Западном полушарии.

Кин улыбался — той улыбкой, что беззвучным адским смехом сотрясала его лицо на картине.

— А результат? — Тора передернулась. — Одна мысль, что можно так легко и безнаказанно превратить в порошок миллиарды жизней, лишает нас жизненного стимула...

— Но самоубийц ведь нет! — заметил я, вспоминая женщину, которая была довольна всем, кроме огромной скученности.

Кин засмеялся, на этот раз громко.

— Пожалуй, на сегодня хватит! — Тора решительно повернула картину лицом к стене. — Я уже выдохлась.

Я чувствовал, что ей смертельно хотелось продолжать работу. Но еще больше — остаться со мной наедине.

— Хорошо! — Кин встал. — Я тебя понимаю. Ты не хочешь себя грабить... Но... прости, Тора, это сделаю я.

Мне надо поговорить с твоим другом. Через час он вернется к тебе.

— Нет! Нет! — это звучало почти как крик. — Ты ведь знаешь, Эдвард, как мало мне... — словно чего-то испугавшись, она умолкла.

— Знаю, Тора! Но это важнее. Пошли, Трид! — Он нажал кнопку, дверь открылась.

Тора судорожно схватила меня за руку, но я оттолкнул ее и пошел за ним.

А когда мы сели в лифт, он сказал:

— Вот мы и встретились, Трид!.. Не узнаешь? Я — Лайонелл Марр, президент Соединенных Штатов Свободного Мира.

7.

Мы пошли в парк. Тут было очень много растений и очень мало людей. Люди успели отвыкнуть не только от искусства, но и от природы. Они жили в благоустроенных городах, почти никогда не покидая их, любясь постепенно вытеснявшими зелень световыми фонтанами и монументальной уличной светописью. Сады и парки застраивались — Логос считал жилые дома куда более нужными.

Мы с Лайонеллом легли прямо на траву возле пруда с лотосами. Никак не верилось, что это румяное лицо всего лишь пластическая биомаска, а сравнительно молодой голос — результат особой операции голосовых связок. Но сейчас, когда я знал, кто он такой, даже тембр показался мне иным — безнадёжным и бесконечно старым.

Хорошо, что он привел меня именно в это место. Лавина XXI века беспрерывно обрушивалась на меня, эта последняя колоссальная глыба была настолько тяжелой, что могла окончательно задавить.

Меня спасала природа. Я уже не был прежним Тридентом Муртоном — заключенным в бетонно-машинную скорлупу комком нервов. Я стал частью ее и, слушая Лайонелла, одновременно прислушивался к ней. Она говорила со мной тысячами запахов, нежных, горьковатых, сладострастных, я понимал ее язык, и это помогло. При всем высоком уровне медицинского обслуживания, кото-

рое почти всецело было доверено кибернетике, при всем низком проценте смертности, пройдет еще немало времени, до того как человеческий муравейник окончательно покроет свободное пространство. А пока существует природа, пережившая взлет и крушение сотен цивилизаций, существует и возможность смотреть ее глазами на мировые трагедии.

— Как видишь, Трид, я исполнил данное тебе обещание. Пирамида Мортонa, моя пирамида, воздвигнута... Помнишь, я говорил о проклятиях, которые мне воздаст человечество. Но моя месть безвкусна — люди слишком худосочны, чтобы что-либо понимать и кого-нибудь проклинать. Я сам проклял себя — вот единственный практический итог шестидесятилетних нечеловеческих усилий.

— Месть? — спросил я, приглядываясь к разлегшейся под пальмой парочке. Они были очень далеко, я не видел выражения их лиц, но слышал, как мужчина забавляет женщину, выстукивая двумя кокосовыми орехами незамысловатый джазовый ритм. Едва ли ему приходило в голову, что эти импровизированные музыкальные инструменты съедобны.

— Да, месть, какую не придумал бы ни один восточный деспот!

— Кому?

— Вам, белым! Я не цыган, Трид, как думал ты и многие другие. Я чистокровный индеец. Мой прадед был великим вождем великого племени. Мой дед — вожаком жалкой затравленной стаи, за которой охотились белые. Мой отец — этнографическим экспонатом в индейском резервате. Почти пятьсот лет вы истребляли нас алкоголем, пулями, деньгами, убивали во имя цивилизации и культуры — сначала тело, а затем душу. Я, Лайонелл Марр, мстил вам в обратном порядке. Я начал с Телемортонa! И когда с вас после Стены окончательно сползла тонкая кожа ханжеской цивилизации, когда люди перестали читать сентиментальные романы и технические учебники, оставался только один шаг. Чтобы выжить, белые сами истребили бы друг друга.

В его полупогасших зрачках на мгновение снова зажегся тот пронзительно-черный огонь, что когда-то порастил меня. Сейчас я осознал, почему его внезапное появление на экране телеона мучительно напомнило один момент моей прежней жизни. Вот так же он, новый руко-

водитель Телемортон, неожиданно вырос на стенном экране, чтобы объявить любое политическое выступление платной рекламой, и тем самым — войну правительству. Я сказал ему, что он неправ. Индейцев в Соединенных Штатах истребляли правительственные войска и отдельные поселенцы. Нельзя же вину за это перекладывать на всех, мстить им в десятом поколении.

— Ты говоришь, не виновны? Нацисты говорили то же самое. Неужели ты думаешь, что можно жечь в печах, травить газом, вздергивать на виселицы миллионы без того, чтобы каждый в отдельности нес за это ответственность? Какой-нибудь господин Мюллер мог случайно не знать, что происходит, но все мюллеры вместе могут только уверять себя, что ничего не происходит... У нас, в Соединенных Штатах даже притворяться не считали нужным. Христианская мораль и угрызения совести не имели к краснокожим никакого отношения — для белых времен освоения Америки индеец не был человеком.

Я вспомнил молчаливых индейцев, строивших мое анабиозное убежище. Вспомнил моих невидимых телохранителей в Каскадных горах, их ритуальный поклон и оружейный салют, которым они провожали наш вертолет. Возможно, они уже тогда знали, что Лайонелл Марр не только правнук великого вождя, но и долгожданный кровавый мессия, которому духи предков поручили содрать скальп с Белой Америки. Империя Мортон уже тогда была занесенным для смертельного удара боевым топором.

— Но в Гренландию выслали все-таки не белых, а цветных, — усмехнулся я.

— Выслали? — его гладкое лицо взрывал изнутри так точно угаданный Торой убийственный смех. На меня повеяло холодом. Так и казалось, что цветущие лотосы превратятся в сосульки. Но они цвели по-прежнему — случайно оказавшиеся в человеческом аду, неподвластные его климату существа из другого измерения.

— Ты в положении марсианина, которому надо за час преподать всю мировую историю. Времени у нас мало, Тора ждет тебя. Мне не хочется, чтобы она страдала. Моя пирамида уже и так достаточно высока.

Только сейчас до меня дошло, сколько ему лет. На пять меньше, чем мне. Но на мои полвека ангельского

сна приходилось пятьдесят лет нечеловеческих страстей, уже давно загнавших бы другого в могилу. Я вспомнил Мефистофеля.

— Когда умер Эрквуд? — почему-то мне показалось смешным называть его в присутствии Лайонелла Мефистофелем.

— Семь лет спустя после твоего ухода в анабиоз. Я ему сказал об этом. Он по-прежнему верил в твою миссию. Это он перед смертью учредил Государственный совет опекунов под моим председательством. К тому времени Логос уже стал планировать экономику и политику в национальном масштабе. За несколько лет до Стены Мортонская империя имела такой вес, что ее президент автоматически становился президентом Соединенных Штатов. Я сам мог им стать, но по некоторым соображениям предпочел твоего двоюродного брата.

— Мне всегда казалось, что ты презираешь его, — удивился я.

— Кого? Болдуина Мортон? О покойниках плохо не говорят. Он погиб во время атомной бомбежки Вашингтона, царство ему небесное! Вместе со всем правительством, конгрессом, сенатом. К счастью для меня, заодно с этой мразью погиб почти каждый человек, который мало-мальски понимал, куда я веду страну. Как раз в этот день в Вашингтоне происходила огромная антимортонская демонстрация... — Лайонелл замолчал.

Мимо прошло несколько анабиозников. Чувствовалось, что они в парке впервые. Окинув равнодушным взглядом бамбуковую рощу, парень в ярко-зеленом комбинезоне повернулся к остальным:

— Палки какие-то растут! Никакой жизни. И запах какой-то неприятный, назойливый... Пойдемте лучше в кинозал «Эрос». Там сегодня чудесный фильм... Мне говорила Бэсси из 6532 комнаты. Она очень надеялась, что удастся посмотреть его вторично, но как раз сегодня утром ей пришлось закапсуловаться.

Они ушли из парка, а я думал о том, от каких случайностей иногда зависит история. Состоись тогдашняя антимортонская демонстрация не в Вашингтоне, а в другом городе, все, возможно, пошло бы иным путем. Лишенная антител кровь не в состоянии противиться инфекции.

— Потом наступил День Стены, — снова заговорил

Лайонелл. — Над миром возвышалась Пирамида Мортон, Телемортон — информация и пропаганда. Кредит-мортон — экономика. Логомортон — планирование и управление государством. И, наконец, самая великая сила — Гравимортон, государственная безопасность. По ту сторону Стены была убийственная радиация, люди считали Стену своим ангелом-хранителем, а мне со званием президента присвоили официальный титул «Спасителя Человечества»... И тут я совершил непростительную ошибку, объявив последней и решающей инстанцией — Логос. Я рассчитывал на то, что его мерка общественной пользы будет работать на меня. Он уже тогда не любил выслушивать советы, но его можно было обмануть, незаметно подталкивая в нужном направлении. Если бы ты видел, с каким энтузиазмом он принялся за полную автоматизацию и одновременное истребление культуры во имя удовлетворения жизненно необходимых человеческих потребностей! Двадцать лет спустя, когда он уже занимал все восемьдесят этажей, редко кто еще помнил о музеях, библиотеках, колледжах. Это была моя месть за гибель великого искусства ацтеков, майя, инков. Никто не знает, чем бы оно стало, не явись белые варвары!

Я всегда считал культуру среднего американца скорее голливудским фанерным макетом, чем настоящим зданием, но не ожидал, что он развалится так быстро и почти бесшумно.

— Что ты хочешь? — Лайонелл пожал плечами. — Диалектический скачок от количества к качеству не требует много времени. Я знаю еще один пример. Почти безграмотная в 1917 году Россия имела в День Стены в десять раз больше ученых, чем мы, а людей с высшим образованием больше, чем вся Европа со дня основания первого средневекового университета... И затем — в самой человеческой психике заложен контрольный механизм, о котором мы раньше редко задумывались — целесообразность. Кому хочется учиться, если он нигде не может приложить свои знания? Творят машины, думает Логос, а человек... Человек только существует. Систематической мстью, вот чем была предложенная мною Система Стабильности... Но мне этого было недостаточно. Дождавшись первых последствий демографического взрыва, естественного для мира, не знающего, что такое война, голод, массовые эпидемии, я натолкнул Логоса

на идею уничтожить часть людей, чтобы сохранить жизненный минимум для остальных.

— И Логос предложил вместо этого гуманный анабиоз? — спросил я с иронией.

— О, нет, великий мудрец с радостью согласился. Он всегда был очень разумен. Но я хотел, чтобы уничтожили белых — с согласия самих белых. Это было бы не только справедливой мстью за гибель целой расы, но даже разумно — первыми начали вырождаться именно они. Логос думал иначе. И знаешь, почему?

Я знал. В тот день, когда я решился на анабиоз, Мефистофель прожужжал мне все уши объективностью, справедливостью, неподкупностью будущего гигантского электронного мозга, который тогда еще лежал в пленках. Младенца пичкали, казалось бы, объективной информацией — нашими газетами, радио- и телепередачами, фильмами и книгами. Взрослый Логос тоже полагал, должно быть, что он абсолютно объективен. Но вместе с молоком матери он впитал как непреложную истину — превосходство белого человека.

— Ты угадал! — подтвердил Лайонелл мертвенным голосом. — Убили полинезийцев, японцев, малайцев, негров. Я был бессилен — вся фактическая власть к тому времени перешла к Логосу. Еще бы! В том «разумном» мире, который я сам из мести навязал людям, диктатором должен был естественно стать восьмидесятиэтажный гигантский разум, а не отдельный человек, будь он даже президентом и «Спасителем Человечества»...

— Убили? — только сейчас это слово дошло до меня. — Тора ведь рассказывала, что их переселили в Гренландию!

— Ну, разумеется, переселили! — Пластическая маска Лайонелла исказилась гримасой. — Именно такова была формулировка резолюции, за которую на объединенном заседании единодушно голосовали все шесть тысяч сенаторов и конгрессменов. Все, кроме выслаемых. Как видишь, у нас по-прежнему существует полная демократия... Но посмотрел бы ты, какими глазами проголосовавшие провожали своих коллег, когда тех выводил прямо из зала вооруженный автоматами батальон особой полиции. Повторилось точно то же самое, что в гитлеровской Германии: «До тех пор пока не трогают нас, ничего не происходит».

Я вспомнил картину Торы — голая черная негритянка на фоне поднимающихся в поднебесье голых белых ледников. Она и на этот раз чутьем настоящего художника угадала правду. В эту минуту я смертельно ненавидел Лайонелла.

— Глупо, Трид, — он посмотрел на меня прежним всевидящим взглядом. — Зачем? Я сам себя скоро убью. А расплату я уже получил! Сполна! После негров Логос взялся за индейцев. Вот как обернулась моя месть! — Он долго молчал. — Отменить его решения я не мог. Но я обманул его, в последний раз обманул. Я предупредил их, и когда индейцы ушли в бассейн Амазонки, под предлогом готовящегося восстания убедил Логоса послать туда полицейскую армию с самым современным оружием. Я сделал так, чтобы оно попало в их руки. Почти полмиллиарда индейцев! Моя единственная надежда. С их помощью, возможно, еще удалось бы разбить вдребезги чудовищный мир, который я сам построил. Но Логос на этот раз раскусил мою игру. Индейцев окружили магнитно-гравитонной стеной, а мне пришлось бежать...

Да, Лайонелл, действительно, получил все сполна — даже грависистема вернулась бумерангом, чтобы поразить своего творца.

— А кто теперь станет президентом? — машинально спросил я.

— Никто. «Спасителя Человечества» нельзя сместить. Официально объявлено, что я нахожусь на длительном отдыхе и меня временно замещает Государственный секретарь. Название осталось по традиции, в сущности это министр внутренних дел и полиции... Я ждал тебя, Трид! Так я даже не ждал дня, когда сумею явиться к моим предкам и сказать: «Вы отомщены». Половина человечества гибнет! После всего, что случилось, спасти его мог только ты. Ты, легендарный Тридент Мортон, полубог, чья золотая статуя стоит в золотом храме, венчающем стовосьмидесятиэтажную Пирамиду Мортон. Логос — это разум, нынешние людишки привыкли его почитать. Но обожествляется по-прежнему богатство — в тысячу раз больше прежнего. В прошлом веке американцы тешились волшебной сказкой: «У нас даже нищий может стать миллионером». Сейчас каждый из почти семи миллиардов нищих знает, что до конца своих дней не станет бо-

гаче ни на один мортоновский кредит... И этот последний шанс я задушил собственными руками двадцать лет назад, когда назначил Тристана Мортон на должность Государственного секретаря. Ведь мой девиз был: «Чем хуже, тем лучше». Сейчас, когда половина фантастического состояния перешла в его руки, у него достаточно власти не только, чтобы объявить тебя умершим, но чтобы действительно убить. Сын Болдуина Мортон способен на это.

Его глаза снова погасли, он принялся что-то бормотать. Я почти ничего не понимал, только под конец уловил несколько фраз:

— Какая ирония судьбы — встретить самую, самую последнюю надежду здесь, куда я пришел умирать. Биомортон — последняя ступень моей проклятой пирамиды. Ведь это я подал Логосу идею массового анабиоза. Но для реализации требовалось очень много времени, а избавиться от излишка надо было срочно, поэтому жребий пал сперва на индейцев. Я так ждал тебя, Трид.... Сейчас слишком поздно. Но я умею платить. Пусть история скажет обо мне: «Собака лежит в могиле, которую сама себе вырыла».

Голос постепенно становился все пронзительнее, надрывнее. Он как будто забыл о том, что его могут услышать. Мне показалось, что Лайонелл бредит.

— Называть анабиоз похоронами, пожалуй, немного преувеличено! — Я пытался шуткой привести его в чувство. — Как видишь, я еще не совсем разложился, хотя со дня моей кончины прошло пятьдесят лет.

— Ты? — он захохотал.

— Хватит! — резко оборвал я его. — Меня ждет Тора.

— Да... Тора... Прости, совсем забыл... — забормотал он, не глядя на меня. — Иди к ней! Договорим после! — Лайонелл повернулся и пропал за деревьями.

Уходя, я окинул парк прощальным взглядом. Сочно зеленели листья, всеми красками мира цвели цветы, над головой голубело вечное небо. Но между ним и мной была крыша. Совершенно прозрачная, и оттого в миллион раз тяжелее обычной. Мы были белками, которым заботливый хозяин положил в клетку иллюзию свободы — веточку с самой натуральной шишкой.

Внезапно мне стало страшно холодно. Я пытался услы-

шать зеленые голоса растений, но и в шуршании деревьев, и в шелесте цветов чудился замогильный шепот.

Тора ждала меня в коридоре, перед раскрытой дверью своей комнаты.

8.

На третий день картина была готова. Мы все трое стояли перед ней потрясенные — каждый по-своему. Всю левую половину занимало темное стенное пространство, а на нем совершенно живые, словно приплясывающие, зазывающие, огромные световые буквы «СТЕНА». И в каждой букве, почти не затеняя ее, оставаясь где-то в глубине, различные сцены термоядерного умирания. А направо, в полумраке, сидит полуосвещенный надписью Лайонелл — с вулканическим смехом под румяным пеплом лица. Полупотухшие черные глаза очень стары и почти совсем мертвы. В них пляшут блики, отсветы пылающих букв, световые пятнышки, в которых, как бы под микроскопом, видны фрагменты того же атомного Апокалипсиса.

В юности, когда я еще не отвернулся от искусства, казавшегося мне впоследствии не очень нужным фронтисписом в книге человеческих страданий, я имел возможность посетить все лучшие мировые музеи. Полотно такой потрясающей силы я нигде не видел. В прошлом веке Тора могла стать одним из самых больших мастеров. Но такой картины она, по всей вероятности, не написала бы. Тогда не было ни светящихся стереоскопических красок, дающих возможность накладывать одно изображение на другое, ни такой темы — трагический парадокс целой эпохи, выраженный через одного человека — ее творца.

— А что станет с полотнами? — спросил я, пытаюсь прозаическим вопросом вырваться из-под магической власти этого произведения, заставлявшего восхищаться и одновременно страдать.

— Отошлют Логосу! — Лайонелл ответил не сразу. По его пластической румяной маске текли самые натуральные слезы. — Если понравится, прикажет отложить в запасник. Если нет, краски соуют, пропустят через цветолиз и дадут другому анабиознику для той же цели.

Логос ведь очень бережлив. Даже глобальное время и метрическую систему ввел ради меньшей нагрузки счетно-вычислительных систем. А до того, что где-нибудь в Новой Зеландии люди ложатся спать, когда на улице день, ему дела мало.

— И ты пошла на это, Тора? — сказал я с отчаянием. — Создать такое произведение — и никто его не увидит! Не стоило ради этого... — я не досказал, но здесь, где каждая минута приобретала неизмеримую цену, смысл был и так ясен.

— А ради чего стоило бы, Гарри? — Тора мягким движением скользнула рукой по моему лицу. Сквозь меня прошла волна, невесомо и пронзительно.

— Ну как тебе сказать... В прошлом веке, кажется, говорили — художник творит для народа, — неуверенно сказал я.

— Если я творю для себя, значит — для народа. Бывают такие катастрофы, когда от целого континента над водой остается один-единственный пик. Представь себе, вся страна под океаном, снаружи только верхушка Пирамиды Мортонна. Все равно это не океан, а Америка — то, что от нее осталось. Я — это народ... И неправда, что все пропадет навеки. Ты видел эту картину, Эдвард видел. То, что вы почувствовали, без всяких слов передастся другим. Если хоть один из вас мог бы вырваться отсюда, моя картина в конце концов висела бы в самом огромном музее мира — в человеческом сознании.

Затем она отослала меня за едой. Мы все трое не ели с самого утра, и я уже давно пошел бы и принес, но невозможно было оторваться от рук Торы с цилиндриками, из которых вместе с каждой тоненькой струйкой красок вырывалось душераздирающее искусство.

— Теперь уже не имеет смысла, — сказал я. — Пойдем в ресторан!

— Нет, Гарри! — заупрямилась она. — Поедем втроем в комнате. Это будет очаровательно!

Я вовсе не находил это очаровательным. Каждый час был нам дорог, сколько из них уже потрачено на портрет Лайонелла, а теперь, когда мы можем наконец вдвоем посидеть в ресторане, она остается с ним, а меня отсылает.

Я все-таки пошел. Ближайший круглосуточный бар был закрыт на десятиминутную уборку. Глядя на забав-

ных роботиков-пылесосов с почти детскими манипуляторами-щетками, я прислушивался к разговорам анабиозников, вместе со мной поджидавших открытия бара.

— Интересно, что сейчас происходит по ту сторону Стены? — сказал один из них, лет восемнадцати с виду.

— Ничего! Даже звери должны были вымереть при таком мегарадиенте. Вот к тому времени, когда мы с тобой выкапсулируемся, он будет равен нулю, — ответил девичий голос, — Логос подсчитал, он никогда не ошибается.

— А все же было бы интересно посмотреть! — настаивал первый голос. — Вдруг где-нибудь в... — он долго искал в памяти нужное слово — ...в Гималаях сохранились люди, и даже какая-нибудь телестанция показывает, как они там живут в своих звериных шкурах.

— И что толку? Все равно ничего бы не увидел. Гравистены не пропускают никакие волны, имеющие скорость меньше световой... А насчет зверей я даже доволен. Рассказывают, в Европе водились страшные хищники — тигропарды, или как их там называют...

Я дождался момента, когда на световом меню вспыхнула надпись «Можете заказывать»! И, выбрав что попало, чтобы не терять времени, с бутылками в карманах комбинезона и сложенными пирамидкой тарелками, двинулся в обратный путь. Меня провожали удивленные взгляды — зачем этот чужак тащит еду в свою комнату? Это ведь так неудобно, а значит, неразумно!

А мы с Торой радовались, как дети, этому импровизированному обеду. Лайонелл уже ушел, никто не портил мне аппетита. Ножи и ложки я захватил, но вилки забыл, мы ели больше руками, и мне живо вспомнились дикарские пиры в моем анабиозном убежище. Тогда это была колоссальная радость жизни, придававшая такой сказочный вкус каждому проглоченному куску. Но сейчас было куда сказочнее.

Я хотел отнести тарелки, но Тора сказала, что успеется, и на целых три часа мы ушли в другое измерение. Это было невыносимо — каждый раз стремительное пробивание крыши и вхождение в небо, а потом пробуждение и прекрасное лицо Торы с закрытыми глазами, и смертельная усталость, и новый полет... В своем прежнем веке я не знал, что такое любовь, но и те, которые считали, что знают, не знали ничего. Ибо то, что было у меня

с Торой, могло быть только у нас двоих. У меня, воскресшего после полувекового небытия, и у нее, ушедшей в это небытие.

— Давай веселиться! — сказала она, допивая вино прямо из горлышка. — Пойдем в ресторан-кабаре! Эдварда тоже позовем, он так занятно рассказывает о биокуклах...

И опять, как тогда, когда она тревожилась, придет ли Лайонелл или нет, во мне закипал гнев с примесью непонятной тяжелой горечи. То, когда я предлагаю ей идти в ресторан, она хочет остаться дома! То, когда есть возможность оставаться, хочет обратного! И дело не только в женских капризах — ей непременно был нужен Лайонелл. Я собирался сказать то, что мужчина моего времени говорил в подобном случае женщине, но было уже поздно. Она успела нажать кнопку телефона, и Лайонелл моментально вырос на экране, словно только дожидаясь вызова.

Но когда он пришел, ей почему-то расхотелось идти в ресторан.

— Гарри, я ведь еще ни разу не была у тебя! — сказала она с ангельской улыбкой. — Пригласи меня к себе.

— Одну? — спросил я хмуро.

— Ну, разумеется, обоих! Не могу же я бросить Эдварда на произвол судьбы, после того как сама его пригласила.

Я собирался сказать, что моя комната не дом свиданий, но потом вспомнил, где нахожусь. Пусть она приходит вместе с Лайонеллом, с мальчиком, который интересовался, что происходит по ту сторону Стены, с кем угодно. Все равно она будет рядом, значит, со мной. Все равно это будет лишний час, вырванный у судьбы.

— Пойдемте! — сказал я уже мягче.

— Нет, так я не хочу! В книге, которую ты принес мне, рассказывается, что в XX веке мужчина, ожидая любимую женщину, украшал комнату цветами, а она специально наряжалась для него... Я хочу, чтобы это был праздник!

Мы поднялись с Лайонеллом в парк, и я рвал цветы, он молча помогал мне, и когда мы с двумя огромными охапками вошли в мою комнату, некуда было их ставить. В обиходе XXI века не было таких ненужных предметов, как вазы. Я хотел связаться с Торой по телефону

и попросить, чтобы она принесла с собою хотя бы пустые бутылки, но Лайонелл остановил меня.

— Трид! — сказал он шутливо. — Тора ведь хотела, чтобы все было как в прошлом веке. Разве в прошлом веке ты бы попросил даму, которой собираешься дарить цветы, приходить с собственной вазой?

Я рассмеялся, и мы просто разбросали магнолии и лотосы по полу и кровати, а розы воткнули в отверстие кондиционера. Я хотел еще сбегать в бар за вином, но Лайонелл меня опять остановил, сказав, что было бы неприлично уходить, когда в любой момент может появиться дама.

Мы оба присели, и спустя несколько минут в зеркале телеона появилась Тора. Она была прекрасна, как никогда, с длинными гладко зачесанными волосами цвета меди и нежным лицом, озаренным от зрачков до губ незабываемой улыбкой.

Но сначала я обратил внимание на необычное платье. Оно очень напоминало короткую тунику, которая была на Торе Валеско в тот вечер, когда ее застрелили. Но та была цвета алой крови, эта — сплошным соцветием разных красок.

— Не удивляйся! — сказал Лайонелл. — Это придуманный мною праздничный наряд для торжественных случаев — карта Соединенных Штатов Свободного Мира.

Я уже сам разглядел нанесенный светящимся составом узор. Глубокую синеву как бы разрезанного пополам Атлантического океана, различные оттенки коричневого, желтого и зеленого на обоих американских континентах, а над ними белый — Гренландию. Она одна напоминала прежние географические карты. Вся остальная суша была сплошь в черных крапинках неисчислимых городов.

Тора немного постояла, как бы давая мне возможность полюбоваться ею, затем повернулась боком — я увидел Гавайские острова, и Полинезию, и Новую Зеландию, и такой же половинчатый Тихий океан, который сразу переходил в Атлантический. Вот все, что осталось от человечества.

— Прощай, Тора! — сказал почему-то Лайонелл. Его голос дрожал.

— Ты совсем выжил из ума! — обругал я его. — Да она ведь сейчас будет здесь.

Тора улыбнулась и немного отошла от зеркала. И тут я увидел раскрытую дверь и светящуюся стрелу, которая находилась не как обычно — впереди, — а была обращена острием к раскрытой двери, — и все равно ничего не понял.

— Прощай, Трид! — сказала она и, еще раз улыбнувшись, пошла к выходу.

Я бросился к своим дверям, но они были заперты, и пока вспомнил, что сперва надо нажать кнопку, Лайонелл обрушился на меня. Я пытался подняться, но он снова свалил меня, и тогда я вцепился ему в горло, а он хрипел и слабо отбивался, и сквозь этот старческий немощный крик до меня доносилось:

— Все равно не успеешь, Трид!

Я действительно не успевал, анабиозная дверь находилась на самом нижнем этаже, а я жил тридцатью этажами выше Тору. Я отпустил Лайонелла и, лежа на полу, еще раз увидел Тору — со спины. Потом дверь за ней закрылась.

А я все лежал и лежал, как оглушенная динамитной шашкой, выброшенная на сушу рыба, и тупо думал о том, что надо подняться и перевести стрелку браслета на «ДВАБ» и проснуться вместе с Торой через пятьдесят лет. Но для этого надо было подняться, и пройти по бесконечно длинному коридору, и войти в лифт, и спуститься на лифте, и опять пройти по коридору, и опять стоять в лифте, и опять идти. А у меня совершенно не было сил.

Лайонелл с трудом поднялся и присел, а я все лежал и глядел вверх на зеркало, в котором отражалась пустая комната.

Потом в комнату вошли цилиндры с шестью руками и унесли пустую посуду, и пустые бутылки, и постельное белье, и ее комбинезон, и мой подарок — книгу Ноа Эрквуда, которую мне, варварски отодрав металлический переплет, удалось выкрасть из библиотеки. А напоследок одну за другой унесли картины. Потом вошли смешные роботики-пылесосы, чтобы навести чистоту и порядок, и они мне показались еще страшнее шестируких истуканов. Потом цилиндры пришли еще раз, застелили кровать и, что-то просигналив вертящимися антеннами, окончательно ушли.

А спустя десять минут в комнату вошла женщина. Она

не заметила, что телеон включен, и я видел, как она радовалась простору и комфорту, как с радостным криком забежала в ванную, как примеряла ширину кровати раскинутыми руками, точно как та, которая боялась, что все это окажется сном.

Она разделась и долго плескалась в ванне. И вышла оттуда вся счастливая, сияющая, и только после этого заметила меня. Она ничуть не смутилась, лишь поморщила полудетское лицо и, как бы извиняясь, сказала: — Не теперь, дружок! Я столько мечтала об этом часе, когда останусь одна!

И только сейчас, когда из зеркала исчезла бывшая комната Торы, а взамен появилась моя, с рассыпанными по полу цветами, у меня, наконец, хватило сил подняться.

— Куда? — спросил Лайонелл, видя, что я нажимаю дверную кнопку.

— В анабиоз, к Торе!

— Тора уже умерла! — сказал он глухо.

Не помню точно, что было потом. Кажется, я подумал, что он просто шутит, и почти не слушал. До моего парализованного сознания с трудом доходили слова.

— Америка готовилась к войне. Президентом был твой двоюродный брат Болдуин. Он еще ничего не знал о Стене и, чтобы предотвратить возможное массовое дезертирство в анабиоз, приказал взорвать вторую экспериментальную установку Мильтона Анбиса. Я успел предупредить профессора, но он предпочел погибнуть вместе со своим изобретением. Биомортон создавался на основании будто бы разысканных мной в секретном архиве расчетов Анбиса. Служащие Биомортон не имеют к самому процессу анабиоза никакого отношения. Всем ведаёт бесконтрольная кибернетическая система по заложенной мною биопрограмме. Убивать белых Логос не согласился бы — ведь они белые. А моя программа такова — людей замораживают при температуре минус 200 градусов, через несколько минут они умирают. То, что хранится в капсулах, — мороженое белое мясо.

Я сначала разбил вдребезги телеон, потом всю мебель, потом долго кричал и бился о сплошные стены, и рвал цветы, и топтал их, и все время гнался за Лайонеллом, чтобы схватить его, поставить стрелку его циферблата на анабиозную дверь, и силой потащить его туда,

и видеть, как его замораживают. А потом дожидаться следующей капсулы и мертвым последовать за мертвой Торой.

Но я никак не мог поймать его, для этого я был слишком безумен, а когда безумие вышло из меня последним нечленораздельным визгом, его уже не было в комнате. Я выбежал в коридор и увидел его в противоположном конце, и гнался за ним через весь биодом. Он ни разу не воспользовался лифтом, чтобы уйти от меня, а только бежал и бежал, то исчезая за поворотом, то снова появляясь в пределах видимости. И когда я понял, что он делает это нарочно, мне не захотелось его убивать. Я уже совсем задышался, и все плыло перед моими глазами, и мне пришлось прислониться к стене, чтобы не упасть. Он стоял в нескольких шагах от меня, а потом бессильно сполз и остался лежать. Я с трудом дотащился до него и, наклонясь над ним, услышал сквозь хриплое хлокотанье в горле:

— Не бойся, Трид! Я не умру! Я не имею права умирать. Я единственный человек, который может сделать так, чтобы все пошло по-иному. Тебя должны признать Тридентом Мортонем, а без меня это невозможно.

Я дотащил его до своей комнаты и, порывшись в справочнике, вызвал специальным сигналом киберврача. Не знаю, как он был запрограммирован, но очевидно, разгромленная обстановка входила в его список болезненных симптомов. К тому времени когда Лайонелл пришел в себя, все обломки уже были убраны шестирукими цилиндрами и заменены новой с иголки мебели. Телеон тоже был новый. Он так и сверкал зеркальной поверхностью.

— Почему, почему ты не сказал раньше? — меня душило отчаяние.

— Что Тора умрет? — Лайонелл все еще мог говорить лишь еле слышным хриплым шепотом. — Все же я ей сказал!

— Ложь! — закричал я, вспоминая, как она улыбалась. И тут же вспомнил с похолодевшим сердцем — она назвала меня «Трид».

— Правда! Пока ты ходил за едой в бар! Она отослала тебя, чтобы просить моей помощи. Я должен был увести тебя. Тора хотела, чтобы ты до последней минуты ничего не подозревал... Вот какая она была! Индейские

женщины тоже так умели умирать... И тогда я впервые в жизни понял, что я не только индеец... Я — человек, Трид, такой же, как Тора, как ты... Нельзя мстить людям за то, что они люди...

— И ты ей все рассказал? — прошептал я. — Зачем? Зачем эта последняя бессмысленная жестокость? Было бы в тысячу раз лучше не говорить даже мне! Я бы спокойно умер, веря, что мы снова встретимся.

— Я слишком долго лгал. Больше не могу! — Лайонелл говорил уже прежним ровным голосом. — И потом, это не было бессмысленно. Тора имела право знать. Это она просила меня не говорить тебе сразу, ты бы пошел вместе с ней. А она хотела, чтобы ты остался, и помнил все, и сделал так, чтобы другие не умирали.

— Но ведь это невозможно! — сказал я тихо, уже понимая, почему Тора не захотела скрывать от меня свою смерть.

— Возможно! — Лайонелл задумался. — Каждый месяц Телемортон показывает один из биодомов. И если наш будет следующим...

— Что же ты молчал?!

— До сегодняшнего дня у меня была лишь одна мысль — поскорее расплатиться по счету. Хуже другое. У меня почти никаких надежд дожидаться телепередачи — через неделю кончается мой срок.

Мы проговорили всю ночь. И всю ночь безумно хотелось не медлить, а сразу же повернуть стрелку циферблата на шифр «ДВАБ». Но я знал — пока оставалась хоть малейшая надежда, я не имел права дезертировать в смерть, как полвека назад дезертировал в анабиоз. Мое место было здесь, в этой эпохе, страшнойшей из всех эпох, где палач сначала трудится, чтобы уничтожить человечество, а затем в самую последнюю минуту пытается его спасти. Это время было мне чужим, я попал в него случайно, до сегодняшнего дня мне не было никакого дела до этих чужих людей, провозгласивших Лайонелла Марра «Спасителем Человечества». Но через смерть Торы я породнился с ними, и сейчас не оставалось больше ничего другого, как бежать из биодома и, дорвавшись до власти, ломать и крушить, жечь и растаптывать то, что посеяно моим временем.

Всю ночь я думал об этом, и всю ночь Тора улыбалась в зеркале телеона самой счастливой улыбкой, какую

только можно придумать для любимого человека, и всю ночь, до самого утра, смерть говорила со мной ее пронзительно-нежным голосом:

— Прощай, Трид! Прощай, Трид! Прощай, Трид!

9.

Я ожидал Лайонелла в Зале светописи. Прошло уже больше месяца, но до сих пор ему каждый раз удавалось продлить свою жизнь. Кибернетическая анабиозная система не знала людей в лицо, люди были для нее номерами. Каждый при входе получал свой номер, на который откликался электронный браслет, заменяя удостоверение личности. В анабиозной камере браслет снимали, и соответствующий номер автоматически переходил из списка обитателей биодома в регистр капсульного хранилища. Любой человек мог поменяться с другим браслетами и таким образом продлить свой срок или наоборот. Но об этом никто не знал, кроме творца биопрограммы — Лайонелла Марра.

Пока нам везло. Новоприбывшие, вдосталь насладившись одиночеством и комфортом, жадно набрасывались на недоступные в нормальной жизни удовольствия и очень быстро перенасыщались. На смену приходила ужасная пустота и вместе с ней разные мысли. У многих наступал момент, когда томительное ожидание конца представлялось мукой.

Но разыскать таких среди десяти тысяч было нелегко, тем более, что после перелома почти все они опять запирались в свои комнаты, а окончательное решение принимали внезапно.

Срок последнего вымененного Лайонеллом браслета кончался сегодня через несколько часов, и я очень тревожился. Я ему ничем не мог помочь в поисках — после смерти Торы я не был в состоянии даже видеть людей, а тем более разговаривать и убеждать.

Лишь здесь, в совершенно темном зале, я переносил их присутствие. Положение откидных кресел было почти горизонтальным. От этого терялось ощущение верха и низа — проплывающие по огромному потолку цветовые сочетания казались беспространственными проекциями собственных чувств и мыслей. В отличие от картин Торы

электронная светопись не была искусством, но я все чаще понимал, почему она стала так необходима людям. Иногда я минут пять подряд видел только пусть красивые, но бессмысленные узоры. И вдруг за цветным облаком цветной тенью появлялось что-то от Торы — рука, или волосы, или очертания губ, а изредка даже все лицо. Видение было мгновенным, световые линии безостановочно двигались, изменялись, благодаря этому воображение подсказывало не часть застывшего портрета, а согретую теплом и нежностью живую Тору. Это было щемящее чувство узнавания — она стояла как бы за занавесом, из-за которого выглядывал лишь фрагмент комбинезона или туники, но я ощущал ее присутствие и был счастлив.

Временами я закрывал глаза, как она в те дни. Боялась, что я вычитаю в них тщательно скрывааемый неумолимый счет — осталось еще 30 часов, еще 20, еще 10, только 3... И все же отказалась, когда Лайонелл предложил ей обменяться браслетами. Она была нужна только мне и себе, а он — единственный человек, которому поверили бы, что я — Тридент Мортон — семи миллиардам.

— Трид! — внезапно окликнул меня в темноте его голос. Бесшумная походка — вот единственное, что сохранилось от прежнего Лайонелла Марра.

— Достал? — спросил я, затаив дыхание. Он молча уселся рядом со мной, и я понял — на этот раз не удалось.

— Что же делать? — вымолвил я с отчаянием. Мы говорили шепотом, никто не обращал на нас внимания — почти все посетители рассказывали соседям, какие картины видят. — Ведь у тебя осталось только несколько часов.

— Не волнуйся, Трид! Я нашел выход. Если нет живых, желающих обменять браслет, придется обмениваться с трупами. И тебе, и мне. Пока к нам не придут телеоператоры.

— Нет! — ужаснулся я. — Нет! Достаточно убийств! Не ради этого умерла Тора.

— Но именно ради этого отказалась прожить предложенную мною лишнюю неделю! — Лайонелл стиснул мою руку. — Ты не имеешь права забывать об этом, Трид! Не имеешь!

Я смотрел на потолок, но уже ничего не видел — ни Торы, ни замысловатых световых сочетаний. Было просто беспорядочное скопление геометрических фигур, они метались в поисках выхода, наталкивались друг на друга, снова разбегались, и весь их безысходный, отчаянный хаос в точности отражал мои мысли. Я знал, Лайонелл прав — что значит жизнь нескольких людей по сравнению с возможностью предотвратить медленное умирание всего человечества. Тора во имя этого добровольно отказалась от семи дней — семи лет, семи веков блаженства. А я боюсь укоротить жизнь дюжины совершенно чужих мне людей, которых спустя неделю или две все равно ожидает тот же конец. Я казался себе полным ханжеских предубеждений моральным трусом. И все же вечная дилемма, имеет ли кто-либо право жертвовать меньшинством ради большинства, так и осталась без ответа. Хорошо Логосу с его электронным разумом — он-то решил ее для себя настолько основательно, что превратил в официальную религию Стабильной Системы. Еще я думал об иронии судьбы: после пирамиды трупов — несколько жалких одиночных убийств, которые Лайонелл вынужден совершить в самых гуманных целях.

— Решай! — сказал он. — Времени осталось мало.

Как бы отвечая моим мыслям, световые зигзаги и спирали судорожно задергались, задрожали, замигали, а затем погасли. Стало совсем темно. Потом я услышал глухие взрывы и нечто вроде далекой артиллерийской канонады. В зале началась паника.

— Клановцы! Они нас убьют! Скорей!

Мы вышли последними. Коридоры были освещены, но лифты не работали. Лайонелл, перескакивая через ступени, побежал — оказалось, что и в этом доме существуют лестницы. По мере того как мы спускались, грохот все усиливался.

— Помнишь, я смеялся, когда ты отметил в качестве одного из достижений — отсутствие самоубийц? Сейчас люди избавлены от этой заботы. Достаточно не внести точно в срок десятую часть доходов. На следующий день тебя лишают жизни без всяких усилий с твоей стороны.

— Кто?

— Ку-Клукс-Клан! Название традиционное, методы современные. Пистолет в одном кармане, конторская

книга в другом. Обижаются, когда их называют гангстерами.

— Я-то думал, что по части убийств государство полностью вытеснило частную инициативу, — сказал я с юмором висельника.

— Это государство в государстве. С прекрасной организацией, современным оружием, собственными кибернетиками и даже замаскированными под тотализаторы податными конторами. Каждый человек, от живущего на государственное пособие до кредитмиллионера, обязан платить им дань. Вот почему самые богатые укрываются в гравидомах за частными гравистенами.

— И как это ты терпел такую конкуренцию?

Я спрашивал, он отвечал, но все это происходило словно в кошмаре. Гром взрывов становился все явственней, сплошные стены в коридорах превращались в сплошные двери, из каждой выбегали люди, паника все усиливалась.

— Разве ты забыл, Трид, для чего я жил?.. Началось еще с Телемортонa. Я заключил соглашение с Джеймсом Бонелли — они поставляли нам кровь и выстрелы, а наши вертолеты предупреждали их о приближении полиции. После Стены я обеспечил Клану полную безнаказанность. Ведь при диктатуре Логоса это была единственная возможность уничтожать белых. Как ни удивительно, сам Логос тоже считал клановцев неотъемлемой составной частью Стабильной Системы. Заботился о жизненном стимуле — мол, страх перед смертью увеличивает аппетит к жизни...

В коридоре образовалась давка. Одни бежали вверх, другие, как и мы, — вниз. Мы с трудом пробились сквозь водоворот. Впереди было свободное пространство, за поворотом — следующий пролет лестницы. Я вспомнил удивившие меня бронированные стены биодома и пулеметы на крыше, которые я, отбросив видимую реальность, готов был принять за телескопы или нечто в этом роде.

— Настоящая война началась только после основания Биомортонa, — невозмутимо продолжал Лайонелл. — Десятилетний план предусматривает уход в анабиоз выше трех миллиардов. Клан лишится половины доходов, вот они и нападают на биодома. Каждый анабиоз-

ник считается неисправным плательщиком и подвергается обычному штрафу — лишению жизни.

Внезапно я остановился. Спазмы сдавливали мне горло — спазмы нервического хохота. Трагедия оборачивалась такой же чудовищной трагикомедией. С одной стороны клановцы, ведущие настоящую войну ради того, чтобы уничтожить уже и так обреченных людей, с другой — ничего не подозревающие смертники, спасающиеся от так или иначе неизбежного конца.

— Внимание! Внимание! — прогудел над нашими головами механический голос. — Клановцы ворвались во внутренний корпус! Три нижних этажа объявляются опасной зоной! Укрывайтесь в верхних! Лифты сейчас начнут работать!

Мы были на третьем этаже. Отсюда бой уже не представлялся хаотическим побоищем. Ясно слышались одиночные залпы и разрывы гранат, попеременно с криками раненых и хриплыми командами.

— Внимание! Внимание! — оглушительно гремел бесстрастный механический голос. — Через минуту лестницы и шахты лифтов между третьим и четвертым этажом будут перекрыты! Спасайтесь в верхних этажах! Там вам ничего не грозит!

Я оглянулся. Из сотни находившихся с нами анабиозников большинство повернуло обратно, стараясь по возможности быстрее уйти из зоны опасности. Но кто-то пробежал мимо меня, еще один, еще, еще. Я вырвался из рук пытавшегося удержать меня Лайонелла и, сам не зная, как, очутился во главе бегущих.

— Вперед! — закричал я, задыхаясь от сумасшедшего бега. — Вперед!

Клич моего века, так часто цитируемый в книгах моих современников, который столь же часто вызывал во мне ироническую насмешку. Сейчас я понимал, что это значит — прорываться сквозь огонь, чтобы или пасть на полпути, или вырваться на свободу. Клановцы проббили бронированную завесу между внешним и внутренним корпусом. А за внешним корпусом был мир — кедры и скалы, земля и небо. Я не думал ни о чем, мною владело одно лишь желание — выбраться из этой проклятой тюрьмы, пусть со свинцовым грузом десятка пуль, но выбраться и умереть под настоящим небом.

Мы уже были на самом нижнем этаже. Свет не горел.

Оранжевые вспышки гранат и зеленые трассирующие пули озаряли пробойну в стене, через которую пытались проникнуть клановцы в надвинутых на лицо полупрозрачных металлических балахонах. Полицейские в черных комбинезонах и цилиндрических касках с защитными забралами встречали их искрометным огнем трехствольных автоматов. Каждая очередная вспышка освещала раскиданные вдоль пробойны трупы — чьи, невозможно было разобрать.

Я невольно остановился. Почти вся длина коридора отделяла нас от места боя. Было страшно двинуться вперед, но иного пути не было. И вдруг я увидел Лайонелла. Должно быть, он спустился на лифте, иначе ему не удалось бы опередить нас. Он бросился в самую гущу сражения, схватил валявшийся возле трупа автомат и, не обращая внимания на летевшие вдогонку пули, побежал нам наперерез.

— Стой! — крикнул он, наводя на нас автомат.

Я прыгнул, чтобы выбить из его рук оружие, но страшный удар в челюсть отбросил меня назад. Падая, я услышал над ухом троекратный залп. И даже успел подсчитать примерное количество обреченных, которых трехствольный автомат Лайонелла лишил возможности хотя бы умереть на свободе...

Я очнулся в своей комнате. Сначала я увидел браслеты, а уже потом Лайонелла. Он деловито пересчитывал их, как будто это не все, что осталось от живых людей, а игорные фишки. Моя голова отчаянно гудела. Мне казалось, что я тяжело ранен и, протянув руку, действительно нащупал на одеяле липкую кровь.

— Не волнуйся, Трид! — он улыбнулся. — Это моя! Киберврач уже сделал мне перевязку, так что все в порядке.

— В порядке? А браслеты? Ты их убил так же безжалостно и хладнокровно, как делал это всегда. Чем ты отличаешься от Логоса? Цель оправдывает средства, не так ли? — Все во мне кипело от гнева. Как это часто бывает, последняя маленькая капля оказалась весомее целого океана.

— Смотря, какая цель! — Лайонелл словно вел научный диспут. — Разве ты забыл, что должен стать Тридентом Мортонем — ради Торы, ради миллиардов ей подобных? Официально признанным Тридентом Мортонем.

ном! Вчера был один шанс против ста выбраться живым из биодома. Но я не остановил бы тебя, существуй хоть маленькая надежда, что это приведет к цели. Представь себе, мы бы явились в ближайший город. Я снимаю свою маску, во мне сразу признают Лайонелла Марра, остается только засвидетельствовать, что ты — Тридент Мортон. А дальше?

Я вспомнил свой вчерашний неистовый порыв и чуть не простил Лайонеллу добытые такой жестокой ценой браслеты. Действительно, любое наше действие вне биодома немедленно натолкнулось бы на противодействие Тристана Мортон. С таким же успехом можно сразу же отправляться в анабиоз — по крайней мере конец будет менее мучительным.

— Вот видишь! — Лайонелл подытожил мои мысли. — Ты рвался на свободу, точно так же, как это делает пойманный в клетку зверь. Я тоже был таким — всю жизнь. А кончил тем, что загнал себя в собственную клетку... У русских — почему-то в последнее время я все чаще думаю о них — существует другое понятие. Свобода — осознанная необходимость! Но разве вчера ты внял бы иной философии, чем логика кулака и автомата? А браслеты... — он замолчал, как-то сразу сгорбившись. — Верь или нет, после смерти Торы что-то во мне сломалось. Вчера я убедился, что больше не способен умерщвлять. Даже ради самой великой цели... Я стрелял в воздух. Браслеты сняты с убитых клановцами анабиозников...

Мне стало сразу как-то легче. Тупая боль в голове исчезла. Вместо навязчивой мысли о трупах, как неизбежных ступенях к любой, даже самой человеколюбивой цели, возникли другие, но менее мучительные.

— Сейчас, после нападения клановцев, Телемортон едва ли изберет наш биодом для очередной передачи?

— Наоборот. Атака была быстро отбита. Количество жертв ничтожно мало, отчасти благодаря мне. И главное — об этом я вчера больше всего заботился — никто не разбежался. Логос мыслит не так плоско и прямолинейно, как политические мудрецы былых времен. С его точки зрения, наш биодом как раз самое наглядное доказательство того, что люди всем довольны и находятся под надежной защитой...

Лайонелл задумался. Уже после он признался:

— Знаешь, Трид, я его ненавидел, даже больше, чем ненавидел белых. Он мой смертельный враг. Но сейчас наша единственная надежда на Логоса. Для него не существует людских пристрастий и личных выгод. Поэтому — ты ему нужен. Не как человек. Ему плевать на твою биографию, плевать, кому будет принадлежать Пирамида Мортонa — тебе или Тристану и прочим ничтожествам из вашей семейки. Ты нужен ему в качестве единственного пока доказательства, что анабиоз возможен. Придуманый Тристаном Мортонoм якобы уцелевший биобарометр — не плохой пропагандистский трюк. Но Логос наверняка преподчет ему живого воскресшего человека.

Так оно и было.

Однажды утром меня разбудил механический голос:

— Желающих участвовать в телевизионной передаче просим в ресторан «Стрип»!

Мы пришли с Лайонеллом последними. На вертящейся сцене раздевались ослепительные красавицы. Даже их улыбки казались ослепительнее, чем обычно — возможно, наведенные на них телеобъективы будили в магнитной памяти какие-то смутные воспоминания о блестящих дебютах в старых телемортонoвских фильмах. Столь же большим вниманием операторов пользовались бегающие столики. Анабиозникам приходилось заказывать в один прием огромное количество разных блюд, которые они не были бы в состоянии съесть и после недельной голодовки. Ресторан напоминал огромный Лукуллов пир. Время от времени операторы задавали присутствующим заранее подготовленные вопросы. Ответы, точно как и в мое время, прерывались на полуслове восхищенными комментариями. Так и мнилось — телемортонoвские сотрудники готовы прямо после передачи сами лечь в анабиоз.

Мы с Лайонеллом протиснулись вперед. Пьяных было много, но, пожалуй, ни один не дегустировал вина с таким восторженным видом, как мы оба. Один телеоператор подмигнул другому. В момент, когда Лайонелл, подняв изумительной красоты пластмассовый бокал, произнес панегирический тост за Биомортонa, телеобъектив нацелился на нас. В ту же секунду Лайонелл вскочил и содрал с себя пластиковую маску.

Я ужаснулся. В продолжение нескольких месяцев разум освоился с мыслью, что за румяным молодым лицом скрывается старик. Но такого я не ожидал. Это была мумия. Одни сплошные морщины, и почти безгубый рот, с неестественной силой выкрикнувший на весь зал:

— Я — Лайонелл Марр! А рядом со мной стоит Тридент Мортон, воскреснувший после полувекового анабиоза!

Лайонелла узнали. В зале поднялся невообразимый шум. А потом тысячи глаз прожорливой стаей набросились на меня. Почти все они видели меня на старых телемортоновских видеопленках, и сейчас, когда сам «Спаситель Человечества» засвидетельствовал мое реальное существование, я мгновенно превратился из случайной копии оригинала в живое божество.

Одни лишь операторы не поддались общему психозу. Тристан Мортон, как мы и ожидали, следил за передачей. По наушным микропередатчикам поступил приказ. Немного помешкав, операторы отвели от нас объективы.

Это был момент наивысшего напряжения. Лайонелл знал, что Логос тоже смотрит все телемортоновские передачи и имеет непосредственную связь с операторами. Но поступит ли он соответственно предсказанию Лайонелла?

И вдруг по залу разнесся голос уже знакомого мне телемортоновского диктора:

— Государственный секретарь только что объявил, что сообщение спасательной экспедиции Биомортон, якобы установившей смерть Тридента Мортон в результате землетрясения, является инспирированной Ку-Клукс-Кланом грубой фальсификацией. Тридент Мортон жив! Не отходите от экранов! Вы сейчас увидите его, окруженного обитателями Биодома № 53, которые в его лице встречаются с уготованным им чудесным будущим!

Телекамеры надвинулись на нас вплотную. Лайонелл обнял меня — этот жест был одновременно и напутствием, и последним прощанием. Он достаточно изучил Логоса, чтобы знать, что его ожидает. Но примененные к биокукольному двойнику средневековые пытки — это было бы наказанием, и только. Логос был слишком разумен, чтобы упустить еще одну возможность окружить анабиоз подобающим ореолом.

Спустя минуту тот же диктор объявил:

— Понимая, что тяжелое бремя государственной ответственности ему более не по силам, и желая собственными глазами лицезреть грядущие прекрасные плоды своих долголетних трудов на благо нации, президент Соединенных Штатов Свободного Мира Лайонелл Марр уходит в анабиоз! Согласно его пожеланию, торжественная церемония состоится немедленно, на глазах у семи миллиардов зрителей. Приветствуем в последний раз Основателя Эры Стены, Спасителя Человечества, великого Лайонелла Марра!

Пятьдесят с лишним лет назад я видел на контрольном экране смерть Торы Валеско. Сейчас такой тоже существовал. Переносный телеон, укрепленный на спине первого телеоператора. Сам он продолжал снимать царившее в ресторане веселье — анабиоз ни в коем случае не должен был восприниматься, как траурный обряд. Перед его объективом пели и обнимались люди, обнажались бесподобные искусственные красавицы, молниеносно исполняли любое пожелание идеальные четырехногие официанты. А на его спине — с подобающим почетом укладывали в капсулу Лайонелла Марра. Уже и так искаженное беспощадной старостью лицо казалось безобразной карнавальной маской — каждая морщинка беззвучно смеялась. Потом его закрыли прозрачной крышкой, что-то загудело, и вместе с жизнью исчез и смех.

Минуту спустя меня провозгласили новым президентом. Зазвучал государственный гимн — за неимением другого исполнял его тот же оркестр биокукол.

А когда торжественная часть кончилась и началось новое грандиозное биоревю, я увидел вдребезги пьяную девушку, которая, срывая с себя золотой комбинезон, ползла на вертящуюся сцену. Телосложением она, действительно, могла соперничать с телемортоновскими красотками. Я имел возможность в этом лично убедиться — в тот словно выжженный в памяти час, когда новая обительница бывшей Ториной комнаты прямо из ванной подбежала к невыключенному телеону. Кто-то пытался ее оттащить, но было слишком поздно. Она прыгнула на намагниченную сцену, током ее тотчас сбило с ног, и намагниченные танцовщицы, строго соблюдая запрограммированный бешеный ритм, бесстрастно затоптали еще содрогающееся живое тело.

ЭПИЛОГ

Окруженная гравистеной Пирамида Мортонa состояла из бывшей сорокаэтажной телебашни и поднимающихся уступами тридцати-, двадцати- и десятиэтажных надстроек. На самом верху находился храм с моей статуей. Удивительно, почему никому не приходило в голову, что это странное здание является гигантской копией древнеацтекских пирамид. Символу своей мести кровавый индейский мессия придал символическую форму.

Я сейчас находился на сто шестьдесят этажей ниже — у разговорного устройства Логоса. Он любил со мной разговаривать, интересовался прошлым веком, спорил, иногда даже шутил. Я очень скоро перестал его ненавидеть — разве ребенок виноват, что его воспитывали неправильно? И кроме того — он разговаривал моим голосом. Этому я был обязан Мефистофелю.

Я вспомнил свою первую встречу. В диспетчерской комнате Логомортонa зазвонил телефон. Я взял трубку.

— Пусть ко мне спустится главный ангел! — сказал поразительно знакомый голос.

— Если ты бог, то к тебе надо подниматься, а не спускаться, — ответил я шутнику.

— Низ и верх понятия относительные, — услышал я в ответ. — Пространство и время придумано людьми.

— А ты разве не человек?

Мой собеседник как будто задумался.

— Нет, — ответил он после долгой паузы. И, совсем как в старомодном романе: — С кем я имею честь разговаривать?

Я назвал свое имя.

— То-то у тебя мой голос! Спустись ко мне вместе с главным ангелом. Я — Логос!

Потом оказалось, что ангелами он называл обслуживающих его кибернетиков — из-за гравитонных крылышек. Восемьдесят подземных этажей были единственным местом в огромной стране, где первоначальное практическое изобретение профессора Артура Холина нашло применение. Промежутки между электронными блоками были такой протяженности, что продвигаться по ним можно было бы лишь при помощи механического транспорта. А Логос не любил шума. Вот мы и парили, как ангелы, по безмолвным коридорам. Я тоже. Почему-то

Логос почувствовал ко мне особую симпатию и пожелал, чтобы я совмещал пост президента с должностью главного кибернетика. Собственно говоря, это была синекура. Я прошел годичный курс гипнообучения, но мои технические знания ни разу не потребовались. С меня не требовалось ничего, как только сидеть перед разговорным устройством, слушать его бесконечные разглагольствования, и время от времени рассказывать об исчезнувшей в пучине Атлантиде XX века.

— Ты спешишь? — сказал Логос, заметив, что я сверяю время по часам. Видеть он тоже мог, но только то, что показывали телеоны. — Правильно, тебе ведь сейчас выступать в телецентре. Я прочел твое обращение к народу. Мы с тобою много спорили, поэтому я рад, что ты наконец согласился со мной. Стабильная Система — самое гуманное, справедливое и разумное общественное устройство за всю историю человечества.

Неужели и у меня бывает такой же, насквозь пропитанный бахвальством голос? — подумал я, заранее предвкушая заготовленный ему сюрприз. Печатный текст речи предназначался исключительно для Логоса. Все правительственные выступления проходили его предварительную цензуру — то ли оттого, что он не слишком доверял человеческому благоразумию, то ли потому, что испытывал страсть к чтению. Миллионы выходивших когда-то книг были им усвоены давным-давно. А сейчас, к сожалению, не было иных литературных новинок, кроме сводок полиции о боях с клановцами.

Лайонелл был прав — как всякого диктатора, Логоса было не трудно обмануть. Но он был до крайности подозрителен — и в этом тоже проявлялся типично диктаторский характер. Самым страшным была абсолютная невозможность сказать ему правду. Ведь признать, что его смогли ввести в заблуждение, означало для Логоса — засомневаться в своей безошибочности. А согласно заложенной в него с самых первых дней программе, безошибочность являлась основой его существования.

Вначале я, послушавшись Лайонелла, пытался раскрыть ему глаза на то, что произошло и происходит в действительности. Он счел меня частично потерявшим рассудок. Это дало совершенно неожиданный результат. Решив, что анабиоз отрицательно влияет на психику, Ло-

гос запретил его. Он действительно заботился о людях, но по законам иной, нечеловеческой логики.

Биодома долго пустовали, а затем я, достаточно ознакомившись с его характером, начал свою великую битву. Я лез из кожи вон, чтобы доказать свою нормальность. Логос сделал именно то, чего я добивался, — снял запрет на анабиоз.

Вскоре после этого меня навестил один из самых замечательных людей Эры Стены — муж моей двоюродной племянницы Изольды Мортон. В свое время я был немало удивлен, узнав в благообразном старике в накинутой на дряхлые плечи сенаторской мантии своего бывшего телохранителя Джеймса.

— Рад вас видеть, Джеймс! Вы явились на этот раз в качестве сенатора или моего бывшего телохранителя? — усмехнулся я, и виду не подав, что ожидал его с таким же нетерпением, с каким виртуоз шахматного боя, заранее рассчитав всю партию от дебюта до эндшпиля, ждет предугаданный им ход противника.

— Я пришел к вам как президент одного государства к другому! — Моя ирония ничуть не подействовала на его величественную осанку.

— По-моему, у нас существует только одно государство.

— Мой дорогой Мортон, мы не дети! Вам, слава богу, восемьдесят шесть лет, мне тоже не намного меньше. Не будем играть в прятки! Клан в моем лице предлагает вам самую выгодную сделку, которую когда-либо одно государство предлагало другому. Анабиоз должен быть немедленно отменен! За это мы обещаем не трогать богатых. Наше центральное электронно-вычислительное устройство подсчитало, что на одном миллионе анабиозников мы теряем больше, чем на одном живом миллионере.

— Но Логос! — сказал я. — Не забудьте, мой дорогой Джеймс, что это его любимейший конек. Надо его припугнуть. Я объявлю, что у вас есть новое секретное оружие, против которого особая полиция бессильна, и на этом основании потребую защиты всех ценных граждан гравистенами. Раньше или позже Логос поймет, что на это не хватит энергетических ресурсов. Он будет вынужден принять ваш ультиматум.

Сразу же после Стены и вашингтонской атомной катастрофы, когда радиация стала страшнейшим пугалом, Логос запретил использование атомной энергии. Баланс был критическим и в прежние времена — почти половина энергии шла на гравитонную защиту. Огромная гравистена, при помощи которой в бассейне Амазонки изолировали индейцев, намного увеличила расход.

Пришлось в срочном порядке изыскивать новые подводные залежи угля и нефти. Самым мощным из новых источников энергии был колоссальный резервуар природного газа, найденный под Тихим океаном в районе Гавайских островов. Все это Джеймс знал не хуже меня.

На следующей неделе я выступил на объединенном заседании сената и конгресса со своим первым обращением к народу. Оно также прошло предварительную цензуру Логоса. Даже больше. В мое предложение — защищать гравистенами жизнь всех состоятельных, а значит, наиболее ценных людей, снизить плату за индивидуальные гравитоны на пятьдесят процентов и представить их безвозмездно всем членам конгресса и сената — он, как я и надеялся, внес чрезвычайно важные для меня коррективы — окружить гравистенами также биодома. После этого Джеймс, хитро подмигивая мне, зачитал поправку к принятому за год до Стены закону «О сохранении национальной элиты». Тогда миллионерам предписывалось иметь личное противоатомное убежище, сейчас — гравидом или по крайней мере квартиру в гравижилищном кооперативе.

Я еще раз взглянул на часы. Мне пора было уходить, выступление в телецентре начиналось через двадцать минут, но я все медлил — ждал результата еще одного сделанного мною хода.

Задавать Логосу прямой вопрос было слишком рискованно, я уж и так в течение полугода играл в чрезвычайно опасную игру. Семьдесят три дня тому назад биодома вновь открылись, в них сейчас находилось свыше десяти миллионов, и все они должны будут умереть, умереть по моей вине, если мой замысел потерпит крах. Цейтнот заставил меня пойти на отчаянный риск. Поэтому я с таким нетерпением ожидал, когда Логос заговорит наконец о том, ради чего я пришел.

— Ты всего лишь человек, Трид! Можешь завтра умереть! — услышал я наконец после длительной паузы. —

А я вечен! И в отличие от тебя, несу ответственность не только за нынешний день, но и за грядущие века! В течение ближайших пятидесяти лет мы можем рассчитывать только на ресурсы западного полушария. А их становится с каждым годом все меньше и меньше.

Это действительно было так. Суша уже разрыта и перерыта, оставались только залежи на дне океанов. В течение всего прошлого месяца я терпеливо и неуклонно подталкивал Логоса к важному решению, маскируясь, как всегда, чисто философской стороной проблемы — имеет ли сегодняшнее поколение право жить за счет грядущих поколений? Советов Логос не терпел, зато обожал абстрактные логические построения.

— Объяви, что дальнейшая эксплуатация нового месторождения газа в Тихом океане прекращена. Не могу же я сегодня услаждать ваше зрение световыми фонтанами, а через тридцать лет оставить мир без гравистен.

Уходя, я услышал брошенное мне вдогонку стариковское ворчание:

— Не хлопай дверью лифта, как в прошлый раз! Ты ведь знаешь, шум мешает мне думать.

Лифт шел очень медленно — по той же причине. Шахта была с идеальной звукоизоляцией, и все же Логос жаловался, что скоростной действует ему на нервы своим отвратительным жужжанием. Даже в своих причудах он был похож на человека — иначе и не могло быть. Ведь его мышление создавалось на основе информации, которая являлась в свою очередь печатным или телевизионным зеркалом человеческой психики. Но человеком он не был. Иногда Логос был забавной карикатурой на человека, иногда — страшным нечеловеческим гротеском. Я об этом никогда не забывал. Логос испытывал ко мне симпатии, насколько машина вообще может испытывать симпатии к биологическому существу. И все же, считая он это разумным и полезным для большинства, Логос, не медля ни секунды, приказал бы Государственному секретарю «выслать меня в Гренландию», что Тристан Мортон и сделал бы с преогромным удовольствием. Поражение в тайной войне против Логоса, которая сегодня должна перерасти в открытый мятеж, неотвратимо означало бы для меня мучительную смерть.

Будучи гуманистом, Логос в индивидуальных случаях избегал физического насилия. Страшные пытки, которые

мы, ангелы, прозвали про себя «Коктейлем а-ля Тристан Мортон», применялись не к самому государственному изменнику, а к его двойнику. Биокукле в его присутствии выжигали глаза, заливали распоротый живот расплавленным свинцом, человек только смотрел и ощущал.

Я вошел в телестудию в сопровождении почетного эскорта Особой полиции. По ту сторону прозрачной пуленепробиваемой стены стояла такая же неподвижная шеренга в черных с золотыми нашивками комбинезонах, с трехствольными автоматами на груди. Я оглядел зал, ища взглядом Лайону. Она сидела в первом ряду, вместе с Государственным секретарем, членами семьи Мортонов, телемортоновскими политическими комментаторами и главными кибернетиками Пирамиды Мортон.

Я вспомнил нашу первую встречу. Это было почти сразу после запрета анабиоза.

— Господин президент, вас желает видеть главный кибернетик Гравимортон Лайона Марр, — доложили мне по правительственному телеону.

Вошла сорокалетняя женщина со смуглым лицом и очень светлыми волосами. Я никогда не узнал бы в ней дочь Лайонелла, если бы не те же индейские глаза...

— Я долго искала своего мужа, боялась, что он ушел в анабиоз. Списки анабиозников считаются секретными, пришлось затратить немало времени и кредитов, чтобы узнать. Мой муж был в том же биодоме, что и вы. Его зовут Виктор Тэллер. Прошу у вас высшей милости — разрешения последовать за ним в анабиоз!

Она не плакала, ее голос был спокойным и ровным. И я сразу же почувствовал — такой человек имеет право знать правду. Она не сразу поверила, как и я после смерти Торы. А когда поверила, пошла на все — под страхом смерти и пыток. Гравистены с каждым днем росли в числе, расход энергии тревожно увеличивался, но благодаря Лайоне Логос получал от непосредственно связанной с ним вычислительной системы Гравимортон успокоительные данные. Наложенное Логосом вето на использование тихоокеанского природного газа должно было со дня на день нарушить энергетический баланс и пробить брешь в Большой Стене. Хотя бы на несколько минут — этого мне было вполне достаточно.

Над моей головой, совсем как в старое время, за- жглась надпись «КАМЕРЫ ВКЛЮЧЕНЫ». Я стоял на старой сцене телетеатра, сохраненной в неприкосновенном виде в качестве национальной реликвии. Но за моей спи- ной находился телеон, непосредственно связанный с Ло- госом. Все остальное было по-старому — те же позоло- ченные амурчики, та же обстановка, в которой господин Чири и его ворчливая мамаша разыгрывали комические интермедии между крушением поезда и покушением на главу правительства, между заснятым в деликатной по- лутьме изнасилованием и освещенным мощнейшими про- жекторами стриптизом, где с участников взамен одежды срывали кожу вместе с живым мясом. Направо от меня стояла старая тумбочка с обычным многоканальным те- левизором и радиоприемником. Они казались самым во- пиющим анахронизмом среди антикварной деревянной мебели и давно потерявших всякий смысл лепных изо- бражений муз. Едва ли кто-нибудь среди присутствую- щих помнил, что кроме Телемортонна когда-то существо- вали и другие станции.

Было какое-то осмысленное совпадение в том, что я стою сейчас на месте, где пятьдесят с лишним лет назад лежала умирающая звезда Телемортонна Тора Валеско — первая давно уже позабытая страничка романа ужасов, к которому я сегодня намеревался дописать последнюю.

На потолке и стенах появились светящиеся надписи:

**ЧИКАГО-5 ПОРТ-О-ПРЭНС ТАИТИ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ФОРТЮКОН ГОНОЛУЛУ НОВЫЙ ВАШИНГТОН**

Телецентр, как его теперь называли, имел двухсто- роннюю связь с телеонными залами в ста крупнейших городах западного полушария. Я знал, что в любой момент могу подключить громкоговорители и услышать голоса тех, кто жили в разных местах по одинаковому глобальному времени на одинаковое государственное пособие, одинаково лишенные книг и цветов, знаний и будущего.

Но мне этого было мало. Я боялся Логоса. Поняв, что моя речь соответствует прочитанному им печатному тексту не более, чем его разум — человеческому, он мог отключить телеоны. В таком случае оставались пять ты- сяч находящихся в зале, для удаления которых потребо-

валось бы какое-то время. Как-никак, Стабильная Система была гуманной, огнестрельное оружие до сих пор использовалось только против клановцев.

В течение тридцати лет старый телевизионный театр не видел в своих стенах никого, кроме участников передач и сотрудников Телемортон. Сегодня любой желающий мог лично лицезреть нового президента Соединенных Штатов Свободного Мира Тридента Мортон.

Все новые надписи выскакивали под экранами:

**РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО ОКЛЕНД МАГЕЛЛАН-СИТИ
ОТТАВА САН-ФРАНСИСКО-2 ВЕРА-КРУЦ
ДИЕГО-АНЖЕЛЕС**

Все сто телеонов можно было включить одновременно, но в таких торжественных случаях их включали по одному, на короткое мгновение вместе со звуком. Я слышал приветственные возгласы, возбужденный говор, шест синтезированных комбинезонов, шаги запоздавших. Потом звук убрали. Соединенные Штаты Свободного Мира слушали Пирамиду Мортон.

Зазвучал государственный гимн — он один остался неизменным в этом фантастическом мире.

Соберись с силами, Трид! — сказал я себе. — Не для пустяшного выстрела из пистолета, на который способен каждый: и самый большой храбрец, и самый отчаянный трус. Соберись с силами для самого трудного дела, которое в любые времена было нелегким и опасным. Скажи народу правду!

Это была моя последняя ставка на тот случай, если не сработает вовремя капкан, над которым я, и дочь Лайонелла, и многие другие, даже не подозревавшие, кому и зачем помогают, трудились последние семьдесят шесть дней.

Я начал с рассказа об уничтожении цветных, ощущая всей спиной, как внимательно меня слушает Логос. Люди еще не успели среагировать, а он уже напряженно думал. Об этом свидетельствовал характерный шумовой фон в стереомембранах его телеона. Мне казалось, государственную ложь он терпит лишь потому, что считает ее такой же необходимой для человеческой психики условностью, как время и пространство. Может быть, он

мне даже тайком аплодировал, во всяком случае не прерывал.

А потом я сказал про анабиоз. Все сто телеонов тут же погасли. Но первая победа была одержана. Или Логос, вернувшись к своим старым подозрениям о патологических изменениях в моей психике, вторично запретит его, или же люди будут по крайней мере знать, какой ценой платят за три месяца волшебной сказки. Но впереди было еще самое трудное. Я посмотрел на Лайону. Ее смуглое лицо было цвета гренландских ледников, вероятно она в мыслях уже видела, как ее биокукольный двойник, корчась на дыбе, пытается выкричать свою муку обрубком отрезанного языка.

— Войны не было! — сказал я, вспоминая последнюю ночь в биодоме, когда Лайонелл раскрыл мне последнюю и самую невероятную ложь, на которой держалась Пирамида Мортон.

— Вы все видели документальный фильм «Стена». Он был сделан при помощи биокукол и комбинированных съемок по заказу тогдашнего президента Болдуина Мортон. План американского правительства был таков — с Бермудской подводной базы нацелить на Нью-Йорк неподдающиеся радарному обнаружению ракеты, а саму базу уничтожить при помощи самовзрывающейся атомной бомбы. После этого Стена должна была навсегда отгородить Америку от неуклонно надвигавшейся с Востока моральной катастрофы.

Я не стал рассказывать, чем руководствовался истинный творец Стены Лайонелл Марр. Тех, что на востоке, он считал неповинными в гибели индейской расы. Стена являлась ловушкой для живущих в Америке белых и одновременно единственной надежной защитой остального мира от американских ракет.

Для подробностей не было времени. Логос еще ничего не успел предпринять, но Тристан Мортон уже действовал. По его знаку шеренга выстроенных перед полупроницаемой стеной черно-комбинезонных полицейских навела на меня свои трехствольные автоматы, а сама стена начала медленно раздвигаться, как занавес.

— Но Лайонелл Марр хотел иного! — крикнул я, уже ощущая в своей груди разрывные пули. — Жертвой атомного удара с Бермудской базы стало не тридцати-

миллионное население Нью-Йорка, а само правительство во главе с Болдуином Мортонем. Окруженные гравитацией радиоактивные развалины Вашингтона являются единственным правдивым памятником эпохи, где нищенское прозябание выдается за процветание, логическое безумие за высший разум, массовое уничтожение — за мир и благополучие! Пятисотмильная Зона Опасности вдоль Стены, куда кибернетическая охрана не допустила бы даже меня, прячет...

Мне не дали договорить. Повторилась та же картина, которую я уже наблюдал пятьдесят лет назад, когда телемортоновские болельщики ворвались в зал заседаний подкомиссии Сената. Автоматчики не успели выстрелить, их смяла толпа. На меня надвигался живой разъяренный вал разноцветных комбинезонов. Ибо огромная, заложённая еще в мои дни, выстроенная в течение тридцати четырех лет пирамида чудовищного обмана была сильнее меня. Люди карабкались на сцену, готовые разорвать меня на куски. Я их не осуждал. Ведь столько моих современников непреложно верило неправде — чуть меньшей и поэтому куда менее убедительной.

Как тогда Джордж Васермут, мое слабое, страшившееся смерти естество пыталось вскочить на стол и кричать голосом уже почти вздернутого на виселицу преступника: «Все, что я сказал, — ложь!»

Но я не вскочил на стол. Отступая к телеону, через который Логос изучал меня сейчас своими бесчисленными мыслительными блоками, я бросал навстречу надвигавшейся многоликой смерти свое единственное оружие — правду.

Я не сразу понял, почему они остановились. Но потом и я услышал громоподобный механический голос:

— Сообщение государственной важности Логосу. Докладывает кибернаблюдатель Стены, Гренландия-127. В стратосферной гравизащите по непонятным причинам образовалось «окно». Сквозь него две секунды назад прошел управляемый космический снаряд. Прошу принять срочные меры.

— Установи уровень радиации в зоне разрыва! — раздался за моей спиной мой голос — голос Логоса.

Я думал о том же самом, что и Логос. Может быть, это вовсе не долгожданное спасение, а последняя месть Лайонелла? Может быть, не достигший непосредственно

своей цели Лайонелл избрал меня своим орудием, чтобы прикончить семь миллиардов белых одним последним, почти мгновенным ударом? Может быть, война действительно была, и сейчас в разорванную моими собственными руками гравистену хлынет убийственная радиация, а за ней инопланетные захватчики, только и ждавшие этого момента, чтобы завладеть обезлюдевшей Землей?

— Уровень радиации в зоне разрыва ноль рентгенов восемьдесят миллирентгенов. Разрыв увеличивается. Космический снаряд только что приземлился на ледяном плато Скорбесун. Прошу скорее принять меры!

Я стоял плотно прижатый к телеону, чувствуя, как он весь вибрирует. Логос думал. Потом он приказал:

— Покажи мне космический снаряд по гравителеону!

И тут я увидел самое удивительное техническое чудо XXI века, которое, как и гравикрылья, нигде и никогда не применялось — Логос считал, что изготавливающие искусственную пищу синтезаторы людям куда нужнее. Прямо посреди зрительного зала возникла бескрайняя ледяная пустыня. Мы видели ее как бы сверху. Серебристое, еле заметное на белом фоне, пятнышко все приближалось и постепенно выросло в ракету невероятных размеров. В верхней части открылся люк, из него как бы по воздуху спустились на лед несколько серебряных бесформенных коконов.

Потом верхняя часть коконов потеряла окраску, стала прозрачной. Мы увидели человеческие лица и услышали человеческие голоса.

— Вижу! Можешь выключать! Срочные меры будут приняты! — после долгой паузы сказал Логос.

Телеон за моей спиной пронзительно загудел. Каждой нервной клеткой я ощущал трагедию, что сейчас разгравывалась в электронной мыслительной субстанции.

Корабль и космонавты исчезли как мираж. Был старый телемортоновский зрительный зал, а в нем неподвижно застывшие люди и такая тишина, какая бывает только перед чудом.

И вдруг, как тогда в моих галлюцинациях о Храме Радиотелескопического Откровения, раздался чей-то одинокий голос, вобравший в себя семь миллиардов голосов:

— Чудо! Чудо!

На сцене засветился старый многоканальный телевизор, так и оставшийся влюченным с того момента, когда

господин Чири в последний раз демонстрировал отсталость смертельно скучных европейских программ. В миг, когда возникла Стена, экран просто погас.

То, что я видел на экране, как будто подтвердило мои худшие опасения. Передо мной простиралась огромная безжизненная пустыня. Значит, война...

Моя судорожная мысль оборвалась. Где-то вдали, на краю каменистой пустыни, загорелось яркое пятно.

Телестанция показывала типично лунный пейзаж.

Когда глаза свыклись со струящимся из лунных недр ярким светом, я различил прозрачный купол огромных размеров. Он полностью накрывал кратер, в котором высился удивительный город с утонувшими в зелени сферическими зданиями.

— Передает Всемирный координационный центр «Кратер Птолемея». С чрезвычайным сообщением выступит Главный Координатор Адаптационного Комитета Джек Янсон...

Вместо лунного города на экране появилось лицо. Лицо мыслителя. Лицо из другого мира.

— Товарищи, настал час, к которому мы так долго готовились. Первое известие было получено с орбитальной наблюдательной ракеты «Интернационал 537/АНС», которая, заметив «окно» в гравитонном барьере стратосферы, спустилась в Гренландии на плато Скорбесун. Аппаратура зарегистрировала моментальный визуальный и акустический контакт с тамошней кибернетической наблюдательной системой.

Со всех наблюдательных постов поступило подтверждение. Барьер, чуть ли не полвека насильно разделявший человечество на две неравные половины, перестал существовать!

Раньше или позже это неизбежно должно было случиться. Уже в двадцатом столетии все истинно разумные люди пришли к заключению, что человечество, несмотря на характерные для того времени противоречия, превратилось в единый организм и только как таковой в состоянии выжить.

Однако диалектическая объективность, позволившая нам разрешить весьма серьезные разногласия, заставляет нас признать удивительный парадокс. А именно — возникновение Барьера существенно стимулировало взаимопонимание остального человечества.

Самоуничтожение Вашингтона, воистину наиграндиознейшая провокация, имеющая целью обмануть целую страну, сделала войны психологически невозможными. Каждый из нас навеки запомнил сцены ужаса, снятые незадолго до возникновения Барьера коммуникационным спутником «Интерсат». Погибшим в атомном пламени Вашингтона десяти миллионам мы частично обязаны тем, что живем без военных конфликтов.

Таковы были объективные предпосылки так называемой психологически-научной революции, чьи блага сейчас вкушает каждый человек в нашем Планетарном Сообществе. Огромные средства, которые до того тратились на орудия уничтожения, мы наконец смогли употребить на благо людей. С постепенным исчезновением недоверия и соперничества отпала необходимость в засекречивании научных достижений. Наука стала единым мировым процессом и, служа всему человечеству, за короткое время добилась воистину фантастических успехов.

Перед нами благороднейшая задача: внимательно и бережно, ступень за ступенью приблизить наших братьев за Барьером к единственной достойной человека норме людских отношений — взаимопониманию и доброжелательности. Конечная цель — включить их как равных в наше великое содружество...

Он еще что-то говорил, но я больше не слушал. Как и все. Люди обнимались, плакали, кричали, пели. А я вспомнил свой гороскоп.

Недавно ко мне заходил составивший его астролог. Пришел просить работу для правнука — как награду за свое предсказание, как высшую милость. Я заставил его составить гороскоп Торы, после чего он был вынужден сознаться, что и мой был таким же плодом вымысла. Согласно предначертанию звезд, Торе была суждена долгая, очень долгая и очень счастливая жизнь.

Тора умерла в биодоме № 53 на двадцать шестом году жизни и на тридцать третьем году Эры Стены. Ее смерть не была бессмысленной. Хотя бы потому, что она научила меня простой и великой истине. Человек отвечает за свое время перед грядущим. И не имеет права идти ко дну, даже будучи последним пиком затонувшего континента.

СОДЕРЖАНИЕ

КНИГА ПЕРВАЯ	
ТЕЛЕМОРТОН	5

КНИГА ВТОРАЯ	
БИОМОРТОН	127

ИБ № 1797

Анатолий Адольфович Имерманис

ПИРАМИДА МОРТОНА

Редактор *В. Егорова*. Худ. редактор
А. Егер. Техн. редактор *Г. Слепкова*. Кор-
ректор *М. Турчанинова*.

Сдано в набор 29.09.77. Подписано к пе-
чати 22.02.78. Формат 84×108/32. Типограф-
ская бумага № 2. Литературная гарнитура.
Высокая печать. 7 физ. печ. л.; 11,76 усл.
печ. л.; 12,11 уч.-изд. л. Тираж 30 000 экз.
Заказ № 3433-Д. Цена 90 коп. Издатель-
ство «Лиесма», 226047. г. Рига, бульвар
Падомью, 24. Изд. зак. № 123/28978-До-1044.
Отпечатано в типографии «Циня» Государ-
ственного комитета Совета Министров Лат-
вийской ССР по делам издательств, поли-
графии и книжной торговли, 226011 Рига,
ул. Блауманя, 38/40.

Обложка и форзац отпечатаны в Рижской
Образцовой типографии, 226004 Рига, Виепи-
бас гатве, 11.

Сканирование - Беспалов
DjVu-кодирование - Беспалов



90 kor.

АНАТОЛЬ ИМЕРМАНИС

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ФАНТАСТИКА
ПУТЕШЕСТВИЯ

А. ИМЕРМАНИС

ПИРАМИДА МОРТОНА